

Пол Келли

# Конфликт, война и революция

*Проблема политики  
в концепциях международных  
отношений*



ПРОЕКТ СЕРИЙНЫХ МОНОГРАФИЙ  
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ

**ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ТЕОРИЯ**

Политическая теория

Пол Келли

**Конфликт, война и революция:  
Проблема политики в концепциях  
международных отношений**

«Высшая Школа Экономики (ВШЭ)»

2022

УДК 355.01  
ББК 87.7+63.3(0)

## **Келли П.**

Конфликт, война и революция: Проблема политики в концепциях международных отношений / П. Келли — «Высшая Школа Экономики (ВШЭ)», 2022 — (Политическая теория)

ISBN 978-5-7598-4092-3

В книге обсуждаются идеи десяти важнейших мыслителей, которые подвергли сомнению и изменили сам способ осмысления политики, насилия и отношений между государствами, – Фукидида, Августина, Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо, Клаузевица, Ленина вместе с Мао и Шмиттом. Конфликт, война и революция в политической теории обычно считались проблемами, справляться с которыми должны были устойчивые политические сообщества, ориентированные на внутреннюю политику. Но представленные здесь мыслители так или иначе признают конфликт, войну и революцию в качестве неотъемлемых характеристик человеческого опыта, проявляющихся в различных способах политического действия, и в то же время дают принципиально разные ответы на то, как к ним относиться. В книге существенно расширен канон политической теории, поскольку в ней рассматриваются подходы к международной системе, которые ставят под вопрос представление о ее исторической неизбежности и триумфе. Опираясь не только на философию, но и на историю, теологию и право, Келли проясняет многие современные конфликты, помещая их в критический и исторический контекст. Издание адресовано историкам, политологам, философам и студентам, изучающим общую политическую теорию и теорию международных отношений, а также всем интересующимся историей мысли, стоящей за политическими идеями и современной международной политикой.

УДК 355.01  
ББК 87.7+63.3(0)

ISBN 978-5-7598-4092-3

© Келли П., 2022  
© Высшая Школа Экономики  
(ВШЭ), 2022

## Содержание

Предисловие и благодарности	10
Глава 1. Введение. Конфликт, война, революция и характер политики	12
Тексты, контексты, мысли или мыслители?	18
Традиции – не обязательно традиции историцизма	24
Где женщины?	28
Обзор аргументации	32
Как пользоваться этой книгой	36
Библиография	38
Часть I	40
Глава 2. Фукидид. Естественность войны	40
Общая история пелопоннесской войны	44
Либерализм Перикла	48
Конец ознакомительного фрагмента.	51

**Келли, Пол**  
**Конфликт, война и революция:**  
**Проблема политики в концепциях**  
**международных отношений**

**Проект серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам**

Руководитель проекта Александр Павлов

© Paul Kelly 2022 / CC BY 4.0

© Перевод на русский язык. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2025

\* \* \*

**СЕРИЯ**  
**ПОЛИТИЧЕСКАЯ**  
**ТЕОРИЯ**

**Paul Kelly**  
**Conflict, War and Revolution**  
*The Problem of Politics in International  
Political Thought*

Пол Келли

**Конфликт, война и революция**

*Проблема политики в концепциях  
международных отношений*

Перевод с английского  
Дмитрия Кралечкина  
под научной редакцией  
Софьи Щукиной

Издательский дом  
Вышей школы экономики  
Москва, 2025

*Посвящается Дж. У. Келли (1932–2018)*



## Предисловие и благодарности

У ВСЕХ книг есть своя история, и благодарности – повод о ней рассказать. На протяжении почти всей своей карьеры я работал над политической теорией и публиковал работы, в основном в русле либерально-эгалитарного подхода. Эта книга серьезно отличается от них, и это нуждается в объяснении. Проработав почти десятилетие деканом факультета, а потом и проректором Лондонской школы экономики (LSE) – обе эти должности мне нравились, в том числе и потому, что дали мне возможность работать с замечательными людьми, – я вернулся к обычной академической деятельности, стал писать о политической теории и преподавать прекрасным студентам. Однако десятилетие без серьезной работы над публикациями – довольно длительный срок, и я не хотел провести свой академический отпуск в библиотеке, нарабатывая материал для проекта, который удастся реализовать лишь спустя много лет. Мне надо было быстро начать что-то писать, поэтому я подумал о курсе, который преподавал многие годы, решив, что из него можно сделать учебник. Когда Никола Скалли, библиотекарь Лондонской школы экономики, предложила мне написать книгу для нового издательства LSE Press, созданного ею для публикации книг в сети и в открытом доступе, я не мог не ответить на вызов. Я давно интересовался сетевыми публикациями, но скептически относился к книгам в открытом доступе. Я благодарен Николе за приглашение, а Патрику Данливи, ставшему главным редактором LSE Press, за то, что я смог осуществить свое намерение. Я имел удовольствие работать с Патриком и раньше, когда мы издавали журнал, и он остается одним из наиболее способных реализовывать свои идеи ученых в Лондонской школе экономики и в области социальных наук в Великобритании в целом.

Когда я начал писать эту книгу, я понял, что проект слишком амбициозен. Книга уже достигла большого объема, а я запланировал 24 главы. По ходу работы стало ясно, что мои интересы лежат в определенной области, и книга приобрела более четкую и реалистическую направленность. В итоге оказалось, что особый отпечаток на ней оставили три политических теоретика: поздний Глен Ньюи, Мэтт Слит и Эдуард Холл, бывший моим последним докторантом до того, как я перешел на «темную сторону», – сегодня он известный политический теоретик. Глен для меня всегда оставался своего рода спарринг-партнером, который изящно высмеивал мой либеральный эгалитаризм. Хотя его больше нет с нами, я все еще слышу его реалистические провокационные замечания. Мэтт какое-то время провел в LSE, прежде чем уйти в Шеффилд, и тогда я постепенно начал знакомиться с его работами и их ценить. Но только когда я прочел его «Либеральный реализм», я стал прицельнее размышлять над проблемами политического реализма. Наконец, Эд Холл бросил, пожалуй, самый мощный вызов моим либерально-эгалитарным установкам и в итоге заставил меня отказаться от плана написать книгу о Рональде Дворкине, за что я ему благодарен. Я все еще остаюсь в каком-то смысле либеральным эгалитаристом, но теперь я вижу эту позицию и ее ценности в ином свете благодаря трем этим друзьям, коллегам и в прошлом студентам, а потому иначе отношусь и к мыслителям, о которых в этой книге пишу.

В целом же список моих интеллектуальных задолженностей столь обширен, что я просто поблагодарю всех своих прошлых учителей, всех тех, с кем я работал и чьи работы читал на протяжении последних четырех десятилетий. Я также должен поблагодарить моих теперешних студентов в LSE. Возвращение в учебную аудиторию ради обсуждения интересных идей с талантливыми, по-настоящему блестящими молодыми людьми – бесценная привилегия, которую может предложить только факультет госуправления Лондонской школы экономики.

Я должен поблагодарить Анну. Я всегда благодарю ее за помощь, но в этот раз все по-другому. В последнее десятилетие она опубликовала четыре книги, проводила выставки и преподавала по всему миру. Эта книга стала возможной благодаря тому, что я ездил за ней со своим

ноутбуком и сетевой библиотекой. Многие главы связаны с местами, составившими историю ее путешествий, по которым она меня таскала. Книга была придумана в Фариндоле в Италии, где она жила в 2018 г. Следующие главы были написаны в Лиможе, на пляже в Ньюкасле (Новый Южный Уэльс, Австралия), где я наблюдал за серферами и пил замечательный кофе, работая над Гоббсом, в Нельсоне и Уонгануи (Новая Зеландия), где я писал о Карле Шмитте. Другие главы связаны с Англией: Харрогит, Линкольн, Солсбери, Ритин, Мансфилд, Корнуэлл. Книга была закончена во время локдауна, и воспоминания об этих путешествиях, незримо отпечатавшиеся в каждой из глав, стали для меня невероятно важны, когда наши миры были вынуждены закрыться. Все это время я видел и наслаждался тем, что делала она; теперь же она может увидеть, что я все это время делал.

Книга посвящена моему отцу. Он умер в тот год, когда я начал ее писать. Он не был интеллектуалом и работал на заводе, но много читал и любил политику. Когда я в 1980 г. пошел в университет, он купил мне «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка в издании *Clarendon Press* под редакцией П.Г. Ниддича, хотя мог бы купить и более дешевое издание. Книга стала для меня настоящим сокровищем. Эта книга – мой ему дар.

## Глава 1. Введение. Конфликт, война, революция и характер политики

Мы живем в интересное время. Считается, что это китайское проклятие, однако есть кое-какие доказательства того, что английская версия той же максимы – «Пусть тебе доведется пожить в интересное время» – по своему смыслу вполне соответствует китайскому афоризму. Как бы то ни было, наше время действительно интересно тем, что многие прежние представления о политике и исторические тренды ставятся с ног на голову, вызывая беспокойство и волнение, причем жертвы и выгодополучатели этих процессов не определены. Когда в 1989 г. Фрэнсис Фукуяма опубликовал свою знаменитую статью «Конец истории», ее выход совпал с развалом СССР, падением Берлинской стены и завершением холодной войны. Хотя в достаточно сложном аргументе Фукуямы увидели излишний триумфализм, название статьи оказалось созвучным эпохе. И, конечно, всем было совершенно ясно, кто выиграл, а кто проиграл на тот исторический момент. Глобализация (и военная мощь США) сокрушили «реальный социализм», а после Первой войны в заливе в 1991 г. западный военный и экономический порядок казался настоящим историческим благословением. Все это вместе с периодом непрерывного экономического роста в развитых западных экономиках, запущенного дерегулированием и глобальной торговлей в 1990-х и начале 2000-х годов (получившего название «великого успокоения» – *great moderation*), еще больше утвердило правоту глобальных финансов и «Вашингтонского консенсуса», определявшего принципы развития, то есть экономической политики, которую ее сторонники называли «глобализацией», а критики – «неолиберализмом». В Европе и Европейском союзе многие восторженные сторонники ЕС видели в нем переход от модели национальных государств, представлявшейся «концом истории», к постгосударственному порядку, построенному на тесной кооперации и интеграции, к которой наконец-то можно было снова вернуться. Тот же оптимизм мы можем увидеть и у крупного немецкого социально-политического философа Юргена Хабермаса [Habermas, 2005; Хабермас, 2005], хотя его аргументация более сложна и не ограничивается подобным оптимизмом. В ту пору выходило много книг о развитии «космополитической демократии», мировой политики и новых политических конфигурациях, необходимых для управления этим новым порядком.

Но не все было таким, как казалось. Страшные события 11 сентября 2001 г. стали наиболее опасной атакой на континентальной территории США за всю их историю – группа камикадзе превратила гражданские самолеты в оружие, направив их на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на Пентагон, штаб-квартиру американского Министерства обороны. Этот теракт, осуществленный, что важно, без применения высоких технологий ранее малоизвестной террористической группой «Аль-Каида»<sup>1</sup>, стал вызовом для самой передовой в технологическом отношении армии, какая только существовала за всю историю человечества. Ответные действия США в Афганистане (где Талибан<sup>2</sup> помогал «Аль-Каиде»), а потом в Ираке (где Саддам Хусейн этого не делал) стали началом почти двух десятилетий войны на Ближнем Востоке. СССР с его ядерным оружием перестал быть главным врагом «Запада», вступившего теперь в асимметричную борьбу с джихадистским врагом, равнодушным к смерти и не надеющимся на победу в каком бы то ни было привычном смысле этого слова. «Аль-Каида» не является военной структурой, у которой была бы своя территория, государство или почтовый адрес.

---

<sup>1</sup> Запрещенная в России террористическая организация. – *Примеч. ред.*

<sup>2</sup> Движение Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. – *Примеч. ред.*

За триумфом неолиберального глобализма и подъемом международного терроризма (сначала «Аль-Каиды», а потом и ИГИЛ<sup>3</sup>) вскоре последовали и другие события, означавшие то, что международные отношения становятся еще более «интересными» и напряженными. К таким событиям относятся глобальный финансовый кризис 2007–2008 гг., подъем Китая, ставшего главной опорой мирового финансового порядка (поскольку он является крупнейшим держателем американского долга), последующее укрепление популизма в США и Европе вместе с выбором президента Трампа, протекциониста и националиста, голосование в Великобритании (одной из крупнейших и важнейших в экономическом и политическом отношении стран Европейского союза) за выход из ЕС, последовавшее за референдумом внутри страны (брексит). В глобальных институтах, ранее считавшихся необходимыми для устойчивости мирового порядка и являвшихся основой эпохи «великого успокоения», теперь разглядели недостаточную политическую легитимность. Они оказались под общим ударом политических сил, чей размах превзошел все, что было известно после 1930-х годов. Эти силы создали угрозу для внутривнутриполитических структур, считавшихся для демократической стабильности образцовыми.

Этот сложный паттерн событий, охвативших четыре десятилетия, включал в себя триумф Запада и подъем Востока; триумф глобализации и возрождение протекционизма и экономического национализма; конец холодной войны и начало глобальной войны с терроризмом. Скорость перемен ошеломляла даже и в новом столетии, засвидетельствовавшем беспрецедентные изменения в делах человечества (вплоть до 2021 г.). Этот сдвиг исторической траектории либерального господства и глобального порядка не может не пугать, но можно ли считать его чем-то уникальным? Быть может, история, которую мы наивно считали закончившейся, снова вернулась в повестку? Международные отношения и их осмысление всегда колебались между прогрессивным оптимизмом и революцией, изоляцией и реваншизмом. Хотя поводов для оптимизма остается по-прежнему немало, вызовы актуальных событий и отзвуки прошлых ставят вопросы о том, как мы должны осмыслять политическое действие и агентность, и особенно вопросы об адекватности парадигм, господствующих в осмыслении международной политики.

В этой книге, охватывающей период от древности до нашего времени, я исследую источники некоторых из этих интеллектуальных парадигм, а именно идеи ряда важных фигур, что позволяет прояснить рефлексию политических вызовов и приоритет кризиса и конфликта. При исследовании десяти парадигмальных мыслителей – Фукидида, Августина, Макиавелли, Гоббса, Локка, Руссо, Клаузевица, Ленина и Мао, Карла Шмитта – я изучаю дискуссии, важные для осмысления международной политики. Особое внимание здесь уделяется тем, кто желает поставить под вопрос или умерить надежды на искупление и установление порядка в человеческих делах за счет преодоления политики, то есть мыслителям, рассматривающим неискоренимость и вызовы политики, войны и конфликта. В отдельных пунктах такое исследование может представляться «историей» того, что теоретики и исследователи международных отношений называют традицией «реализма», но его цель иная.

Полагание таких традиций, как реализм, заранее дает ответ на вопрос о том, как читать этих мыслителей, предполагая, что все они соответствуют одному нарративу [Doyle, 1997], но это довольно узкий способ их рассмотрения. В данной книге эти ключевые мыслители помещены в более широкий контекст, где они используются для определения и изучения различных способов понимания политической деятельности как автономного способа действовать в мире. Понятие реализма попадает в эту область, поскольку некоторые из обсуждаемых здесь мыслителей были отнесены отдельными исследователями к сторонникам той или иной версии этого взгляда. Но, как мы увидим далее, подведение этих мыслителей под категорию «реа-

---

<sup>3</sup> Запрещенная в России террористическая организация. – *Примеч. ред.*

лизма», используемую в исследованиях международных отношений или в теории международной политики, ставит вопросы о ценности и объеме самого этого понятия (см. главу 11).

Другая причина, по которой эта книга не может считаться просто «историей», состоит в том, что она не стремится быть полной. Конечно, существуют и другие варианты понимания международной политики, другие нарративы, способные, быть может, еще лучше объяснить развитие определенных учений в западной традиции и не только в ней. Но такой полный обзор потребовал бы намного более объемной книги, к тому же он поднял бы вопросы об идее единой истории, от которых я по большей части целенаправленно уклоняюсь (см., однако, главу 11). В этой книге достаточно представить канон мыслителей, чьи идеи и подходы определяют и проясняют некоторые из основных вопросов международной политики и тех вызовов, с которыми она сегодня столкнулась.

Теория международной политики, именно потому, что она пишет свою картину столь широкими мазками, особенно ценна для понимания некоторых наиболее важных вопросов о политике. Но также она оставляет открытыми те именно вопросы, понятия и подходы, которые исследовались представленными здесь десятью крупнейшими мыслителями. Они занимались фундаментальными вопросами природы политической деятельности и механизмов ее осуществления в разные времена и в разных местах – не отдавая приоритет развитию или какому-то определенному типу организации, будь то полис, империя, княжество, толпа, государство, нация, класс или номос.

Подход теории международных отношений помогает выйти за узкие пределы внутренней политики, понимаемой в качестве определения того, «кто получает что, когда и как» [Lasswell, 1936]. Он привлекает внимание к тому, что можно назвать метауровнем, где осуществляется фундаментальная работа разграничения политической агентности. В некоторых стандартных введениях в политические идеи объяснение начинается с людей, понимаемых в качестве акторов, затем оно перемещается вверх – к государству и уровню политического сообщества, а заканчивается на том, как такие сообщества взаимодействуют друг с другом в международной сфере. Эта модель внутренней и международной политики выступает основой для стандартной теории международных отношений, но также она представляется общим местом в курсах по политической теории.

Сосредоточение на международной теории позволяет взглянуть на более широкую картину, из которой в значительной степени как раз и складывается внутренняя политика. Оно не предполагает приоритета внутренней политики и представления о международной политике как проблематичном остатке. Напротив, такой подход понимает вызовы международной политики в качестве если и не первичных и автономных в полном смысле слова, то по крайней мере сопутствующих проблеме разграничения политических сообществ и мест политической агентности. Неудивительно, что в значительной своей части политическая теория и философия считает теорию международных отношений вторичной, чем-то вроде приложения. В этом и заключается наследие работ Гоббса о политической мысли и международных отношениях, отголоски которого можно обнаружить в трудах Джона Ролза, наиболее значительного политического философа второй половины XX в. Но взгляд Августина и Макиавелли, если привести только два этих примера, был определенно иным, поскольку для них различие между внутренним и международным не имело смысла.

Нарратив, построенный в этой книге, намеренно избегает термина «история», поскольку он не пытается дать обзор всех подходов, обнаруживаемых в курсах по теориям международной политики. Действительно, если вернуться к приведенному мной выше списку способов организации политической агентности, станет ясно, что я намеренно не включил в него такие организующие категории, как индивид, общество или экономика, так или иначе присутствующие в общей картине мышления о международных отношениях, как она определяется в западном каноне. Это решение может быть спорным, однако оно представляет собой

сознательную попытку выйти за пределы редукционистских подходов, сводящих политику к морали, экономике или обществу. Слишком часто современная мысль, занятая нашими глобальными проблемами, предполагает прогрессивное формирование порядка, чьей кульминацией в Новое время оказывается триумф вестфальской государственной системы и ее международных институтов, а также глобализированной рыночной экономики. В этих подходах к международной политике первую скрипку играет отдельный человек, понимаемый в качестве носителя прав и уникального этического достоинства или же в качестве максимизатора индивидуальной полезности, чьи предпочтения строго упорядочены. Во многих академических дискуссиях, в политической теории и политологии эта концепция человека считалась достаточно точным описанием моральной и экономической агентности, а также основанием всех остальных политических структур и групп. Это, в свою очередь, привело к преобладанию некритически понятого и аполитичного космополитизма, скрывшего некоторые из наиболее фундаментальных вызовов современной политики.

В этой книге я не пытаюсь отвергнуть индивидуализм или космополитизм как ценностные системы. Собственно, в другой своей работе я высказался в поддержку определенной версии этого подхода, который назвал либеральным эгалитаризмом [Kelly, 2005]. Но в актуальной ситуации, где под вопрос поставлена сама концепция агентности, поддерживающая такой подход, мне более интересны вызовы, брошенные этому мировоззрению и все больше занимающие центр сцены. Этот индивидуалистический и космополитический взгляд на саму область политического не только определил форму современной политологии и исследования международных отношений. Он же привел к исключению взглядов, заставляющих нас рассматривать иные способы ведения политики и применения власти, силы и насилия, понимания целей политической деятельности и ее фундаментальной цели. Тогда как в этой книге предпринимается попытка предложить введение в политическое мышление и теорию международной политики, не предполагая при этом, что политическая агентность и институты должны обладать устоявшимся характером и структурой, соответствующими моральному индивидуализму и сходящимся к либеральному конституционализму как наилучшей форме политической организации.

Моя задача – дать этим мыслителям возможность говорить от своего лица, а не сводить их к устоявшемуся историко-культурному нарративу, к таким традициям, как реализм, или таким идеологиям, как либерализм. Соответственно, связующий нарратив должен оставаться абстрактным, общим, высокоуровневым. Тем не менее между главами есть важные связи, объясняющие совмещение определенных мыслителей, расходящееся с альтернативным канонem или нарративом. Для всех этих мыслителей фундаментальную роль играют насилие, конфликт и принуждение. Насилие и конфликт представляются либо неизбежным опытом человечества, скрывающимся под тонкой пленкой цивилизации, либо таким аспектом человеческого опыта, обуздать или скрыть который стремится мораль и общество, хотя он все равно остается основной материей политического действия и агентности. Для некоторых из этих мыслителей опыт такого рода характерен для жизни за пределами защиты, предоставляемой государственным суверенитетом, то есть в анархическом мире международной и межгосударственной политики. Некоторые из них считают насилие неустранимой проблемой. Другие полагают, что насилие в моральном плане двусмысленно, поскольку оно является качеством опыта, поддающимся переработке и переориентации на разные цели. Обычно мы считаем насилие и конфликт чем-то дурным, тем, чего нужно избегать и что необходимо сглаживать. Однако на более фундаментальном уровне можно также утверждать, что они суть естественные силы, осуждаемые нами, когда им дается определенное описание, но превозносимые в другом. В конце концов, разве порядок не требует принуждения (если не учитывать идей анархистов), как, собственно, и закон или даже мир (если мы последуем в этом пункте Августину)? Наконец, под рубриками войны и революции мы обнаруживаем подходы к политике, направляющие насилие на цели, которые невозможно достичь путем переговоров, обсуждения и компромисса.

В случае революции насилие используется для устранения наличного порядка и расчистки пути (пусть и чисто теоретического) для создания мира без насилия и политического принуждения.

Обсуждение и сопоставление этих парадигмальных мыслителей служит теоретическим введением в теорию международной политики. Но что именно представляет такая теория и как она отличается – если отличается – от исследований международных отношений и определенного подраздела таких исследований, а именно теории международных отношений, или, наконец, от исследования истории политической мысли? Теория международных отношений и история политической мысли – признанные академические дисциплины. Поэтому важно показать то, что теория международной политики – не просто неловкое переименование уже известной дисциплины или же упрощенная, менее четкая версия некоего академического направления. В двух следующих разделах я попытаюсь обосновать теорию международной политики и отличить ее от истории политической мысли. Но, прежде чем обратиться к этому обоснованию, я хочу провести различие между теорией международной политики и теорией международных отношений.

Различие между теорией международных отношений и теорией международной политики сформировалось в последние несколько десятилетий в качестве следствия развития международных отношений как академической дисциплины, с одной стороны, и развития нормативной политической теории и прикладной этики в политологии – с другой. Наиболее убедительное объяснение отделения теории международной политики от основной линии теории международных отношений было предложено Крисом Брауном. Он связал его со все большим поворотом социальных наук к позитивизму, то есть к исследованию с целью объяснения, предполагающему, что факты или объекты исследования устойчивы и могут изучаться примерно так же, как в естественных науках [Brown, 2015; Brown, Eckersley, 2018]. Примером такого позитивистского поворота может быть применение формального моделирования и экономистских форм теории (таких, как теория рационального выбора) к традиционным вопросам национальных и государственных взаимодействий и договоренностей, в том числе у таких ведущих теоретиков, как Кеннет Уолц [Waltz, 1979]. По словам Брауна, теоретики международной политики – авторы, которые видят в этом повороте неудачное отступление от гуманитарных подходов к исследованию международных отношений, характерных для ранних периодов этой дисциплины.

Однако вопрос не сводится к войне между методами количественной и формальной теории с качественными или историческими подходами. Он также связан с направлением и стилем аргументации в области международных отношений. Поворот к позитивизму и приоритет объяснения, а не нормативных и прескриптивных аргументов совпал с возрождением нормативных аргументов в политической теории и прикладной этике под влиянием таких крупных теоретиков, как Джон Ролз, Майкл Уолцер и Питер Сингер [Forrester, 2019]. Эти мыслители инициировали дискуссии или возродили обсуждение некоторых вопросов о распределительной справедливости и государственной легитимности, оправдании войны и наших обязанностях перед другими людьми в ситуации голода или глобальной нищеты. Все эти вопросы содержат в себе определенный элемент, связывающий их с хорошо известной интеллектуальной территорией традиционной теории международных отношений. Однако они отстраняются от нее, поскольку либо ставят ее явные этактические посылки под вопрос, либо пытаются выработать нормативные и прескриптивные концепции, говорящие о том, что *должны* делать государства или другие международные агенты независимо от того, что они, скорее всего, будут делать, следуя собственным интересам. Часто развитие дисциплин проистекает из признания интересных и интеллектуально воодушевляющих идей, приходящих извне, – так, современная поведенческая экономика обратилась к экспериментальной психологии. То же самое относится и к теории международной политики. Но в то же время в ней нет поворота к знакомой

нам нормативной политической мысли, часто не слишком осведомленной о реалиях международных отношений и политики. Именно критическая работа с нормативными и прескриптивными аргументами о международных отношениях – вот что определяет важность и жизнеспособность исследований теории международной политики. Тем же объясняется и конкретный выбор парадигмальных мыслителей в этой книге. Теория международной политики не отвергает и не игнорирует нормативные и прескриптивные аргументы и не считает их методологически примитивными, в отличие от того, как, на ее взгляд, порой поступает стандартная теория международных отношений. Скорее она снова выводит их на первый план, где они сталкиваются с вызовами, определяющими и будоражащими нашу эпоху. Тем самым теория международной политики поднимает вопросы о теоретическом словаре, источниках и объеме подходов, о языках и понятиях – то есть о том именно, что рассматривается в этой книге.

## Тексты, контексты, мысли или мыслители?

Исследование трудов группы мыслителей прошлого часто называется созданием канона. Этот подход был вполне узнаваемой частью исследования политики с момента возникновения политологии как науки к концу XIX в. [Boucher, 1985; Kelly, 1999]. Чаще всего ряд мыслителей объединяли для того, чтобы проиллюстрировать господствующую историю возникновения современного государства. Осмысление этих мыслителей прошлого было частью деятельности, обращенной вперед и выдвигающей аргументы, принципы и институциональные модели, которые затем можно было сопоставить с актуальным развитием – и все это с целью легитимации или усовершенствования современной системы либерального государства. Так же, как и на раннем этапе исследования международных отношений, многие аргументы, основанные на исследовании такого типа, были одновременно прескриптивными и нормативными. Когда после Второй мировой войны политология сформировалась в виде современной дисциплины, значение политической мысли снизилось, уступив место исследованию политического поведения, политических институтов и развитию сравнительной политологии. Общее и эклектичное исследование политических мыслителей стало казаться в интеллектуальном смысле грубым, поскольку ему не хватало строгости метода, или же оно было вынуждено следовать афоризму кембриджского конституционного историка XIX в. Ф.У. Мейтленда, заметившего, что политическая наука – «либо история, либо чепуха». У новой области был свой метод, но его интеллектуальной обителью представлялась история как отдельная дисциплина. Радикальным критикам современного государства история позволяла также громить современность, показывая, что современные политические ценности и институты были запятнаны своим происхождением, то есть колониализмом и патриархатом. Благодаря последующему развитию нормативной политической теории (у Ролза, Уолцера и Сингера), исследование политических идей прошлого стало казаться ненужным отвлечением. Вместо него мы должны «мыслить самостоятельно», как сказал Брайан Барри, один из самых непреклонных нормативных политических теоретиков Британии [Barry, 1965; Forrester, 2019].

В этом контексте революция в методологии истории политической мысли, связанная с Квентином Скиннером и его коллегами, позволила историкам идей заявить о своих правах на всю территорию политической мысли прошлого. В своих основополагающих работах – включая «Значение и понимание в истории идей» [Skinner, 1969] и ставшее сегодня классикой двухтомное исследование «Истоки современной политической мысли» [Скиннер, 2018] – он определил ориентиры для любой убедительной истории политических идей и в значительной мере обесценил любые альтернативные применения «исторических» текстов для исследования политических идей, в том числе о международной политике. В статье Скиннера 1969 г. проводится мощная критика текстуализма и одновременно контекстуализма как подходящих методов исследования.

С его точки зрения, текстуалисты грешат мифом согласованности, поскольку утверждают, что какая-то отдельная книга или текст – подходящий для исследований объект. Это заставляет поднять общие вопросы о возможности сведения мысли автора к одной конкретной работе, особенно если учесть, что у многих авторов (в том числе некоторых из тех, что включены в данную книгу) много разных работ. Не самым мало важным является и вопрос о согласованности ранних и поздних работ того или иного автора. В случае Фукидида я работаю с одним-единственным источником, тогда как Макиавелли и Руссо разрабатывали свои аргументы в ряде различных книг. Не навязывает ли текстуализм мифического единообразия аргументам, существенно друг от друга отличающимся?

Этот момент может оказаться еще более острым, если мы спросим о согласованности мысли автора в пределах одного текста. Действительно ли тексты, под которыми мы обычно

имеем в виду книги, образованы одним-единственным аргументом или позицией? С точки зрения Скиннера, положительный ответ на этот вопрос делает историческое исследование ненужным. Тогда как контекстуалисты, наоборот, выходят за пределы книги, чтобы понять ее значение. В таком случае книги рассматриваются в качестве эпифеноменов более общих социально-экономических сил, которые, в свою очередь, объясняют их значение и влияние. Например, Скиннер критикует данную К.Б. Макферсоном интерпретацию английских философов XVII в. Томаса Гоббса и Джона Локка как представителей «собственнического индивидуализма» или же как рационализацию формирующейся в ту пору классовой политики ранне-современного капитализма [Macpherson, 1962].

Проблема контекстуализма такого рода, однако, в том, что он занимается редукцией. Он переводит внимание с текстов как независимых идейных миров на их социальный контекст, но не уточняет причинно-следственную связь между этими силами и логикой или формой какого-то конкретного аргумента. Короче говоря, он мало что может сказать о том, почему аргументы Гоббса обладают той формой, каковая у них действительно есть. В конце концов, многие современники Гоббса писали книги, в которых не было никакой связанной с капитализмом рационализации индивидуализма.

Отвечая на недостатки этих конкурирующих подходов, Скиннер предлагает свою собственную методологию лингвистического контекстуализма, опираясь на теорию языковых актов таких лингвистических философов, как Дж. Л. Остин и Дж. Сёрл, и на логику вопросов и ответов, которая служит основой философии истории Р.Дж. Коллингвуда [Коллингвуд, 1980].

За историческим методом Скиннера стоит тезис о приоритете исторического подхода к мысли прошлого и попытка провести различие между подлинным пониманием высказываний (или речевых актов) мыслителей прошлого и навязанными им интерпретациями и искажениями, определявшимися идеологическими предпочтениями более поздних толкователей. Высказывания – это в данном случае технический термин философии языка, однако у Скиннера к высказываниям относятся аргументы, предложения и положения сложных работ. Так, высказыванием может быть «Левиафан» Гоббса, но точно так же высказываниями могут быть его частные аргументы о естественном состоянии или даже определенные тезисы в этих аргументах, сводящиеся к отдельному пассажиру или предложению. Исторический вопрос – это вопрос о том, что такие высказывания означают. Ответом на этот вопрос служит реконструкция лингвистического контекста, отличного от социально-экономического. Этот шаг задает пределы того, как такие высказывания могли бы пониматься аудиторией, современной автору, что, в свою очередь, определяет, что автор намеревался сделать, делая то именно высказывание, которое он сделал. Политический язык – это всегда результат чьей-то попытки сделать что-то посредством речи и языка. С точки зрения Скиннера, то, что представляет собой такое действие, – вопрос исторический, а все остальное для него, помимо такой истории, не имеет значения.

Метод Скиннера не остался без ответа критиков, и я сам разовью эту критику далее. Однако несомненная сила его аргументов и интеллектуальной программы преобразовала изучение политической мысли прошлого, продолжая и сегодня служить источником вдохновения для исследователей. Различные аспекты его подхода остаются действенными исследовательскими инструментами, даже если мы не принимаем его аргументы относительно приоритета истории. Недавно определенный вариант этого лингво-исторического подхода был расширен на международную теорию в работе Дэвида Армитиджа [Armitage, 2012].

В этой книге мы сосредоточиваемся на отдельных текстах, на сочетаниях текстов, а также, в некоторых случаях, на сочетаниях мыслителей, которые, как я покажу, вносят дополнительный вклад в определенные дискуссии или подходы. При этом в главах приводится мало сведений о лингвистическом контексте, как, впрочем, и о других контекстах, которые, следо-

вательно, не считаются нами основой для первичного объяснения, пусть даже мы определяем исторический контекст каждого мыслителя. Аргументация в этой книге выходит за пределы конкретных исторических тезисов, что позволяет оценить логическую и трансисторическую ценность определенных аргументов и подходов, а также того, как та или иная мысль все еще используется в современных спорах и доводах. В лучшем случае такой подход может показаться грубым и упрощенным, подходящим, возможно, для учебника начального уровня, от которого надо отказаться, как только начинается серьезное исследование. В худшем же мой подход может быть признан попросту категориальной ошибкой, в которой история вырождается в практику и практическую аргументацию.

Защищая этот подход и отстаивая его перед читателями и студентами, я не буду заявлять, что скиннеровский метод раскрытия исторического значения неверен, хотя и считаю его слишком узким. Вместо этого я хочу отказаться от заметного у Скиннера возвеличивания исторического применения текстов прошлого как единственного в интеллектуальном смысле достойного. Эта позиция закрепляет представление о том, что политическая мысль и критика не могут освободиться от источников, из которых они возникают, а потому отделяет их обеих от политической теории как деятельности. Вытекающее из этой позиции неуважение к аргументам мыслителей прошлого, сегодня представляющих, как считается, лишь исторический интерес, оказало пагубное воздействие на современную политическую теорию и теорию международной политики. Сугубо историческая концепция политического исследования, особенно та, что действительно отрицает всякий авторитет неисторического толкования смысла, объема и плодотворности великих политических текстов, существенно обедняет нашу способность отвечать на вызовы, бросаемые современным миром. Приоритет исторического исследования мысли прошлого имеет смысл только в том случае, если это единственный убедительный подход к текстам и мыслителям прошлого. А это можно доказать только в том случае, если в историко-лингвистической интерпретации значений, отстаиваемой Скиннером, есть нечто особенное. Если же историко-лингвистический подход – лишь один из многих обоснованных способов реконструкции текста, то привилегия исторического подхода в ущерб всем остальным способам интерпретации несостоятельна, тогда как возможность творческой интерпретации остается частью политического мышления.

Не вдаваясь на этой стадии в излишне техническое обсуждение, можно отметить, что значение сложных текстов (даже сконструированных теми различными способами, что обосновывает Скиннер) не исчерпывается определенным лингвистическим контекстом того или иного высказывания, в отличие от конкретного речевого акта. Письменные тексты не исчерпываются теми смыслами, которые, возможно, сознательно закладывал автор, или же конкретной интерпретацией определенного спектра намерений в данном дискурсе. Поскольку многие тексты опосредованы прошедшим с момента их возникновения временем, они накапливают значения, которые не навязываются текстам, но в то же время и не содержатся в пределах данного лингвистического контекста. Тексты не тождественны устным высказываниям, которые отличаются исторической частностью, эмпиричностью и мимолетностью. Тексты проживают жизнь, не ограниченную жизнями авторов или опытом тех, кто был их первыми читателями. Лингвистические контексты сами состоят из констелляций речевых актов, которые, в свою очередь, являются частями более обширных языков, выходящих за пределы исторически ограниченного места. Это не значит, что при интерпретации великих текстов годится что угодно, однако этим ставится под вопрос задача определения лингвистического контекста. Моя мысль не просто в том, что лингвистические контексты не могут быть замкнутыми и определяться в строгом виде. Я хотел бы отметить, что значение письменных текстов больше того, что было сказано в определенном контексте, поскольку оно определяется читателями, интерпретаторами и критиками на протяжении длительного исторического времени. Кроме того, историко-лингвистические вопросы, которые можно поставить тому или иному тексту, – не единственные.

Идеологическое и философское применение – важная часть того, что тот или иной конкретный читатель может понять из аргументов текста.

Мой тезис не равен поспешным заверениям некоторых постмодернистов о смерти автора и открытой текстуре всех текстов, указывающих на то, что годится что угодно. На самом деле я хотел бы вслед за Полем Рикёром отметить, что в текстах присутствует избыточное значение, превосходящее авторское намерение или понимание его прямой аудитории. Я хочу защитить представление о *настоянии* (*overstanding*) текстов, связанное с американским литературным критиком Уэйном Бутом [Booth, 1979; 1988]. Действительно, если посмотреть на литературную критику, представление о том, что единственным обоснованным подходом к значению текста является сугубо исторический, покажется смешным. Никто не стал бы утверждать ничего подобного о литературном каноне. Конечно, такие литературные тексты, как романы, пьесы или стихотворения, отличаются от политических текстов, хотя эта разница порой преувеличивается и не всегда на самом деле существенна [Boucher, 1985]. Я хочу подчеркнуть то, что, как и в случае литературных текстов, устранение неподобающих прочтений (выражение Бута) осуществляется не просто за счет сосредоточения на конкретном историческом контексте данного текста. С точки зрения Бута, само представление о неподобающих интерпретациях не столько указывает на проблему, которую нужно устранить, сколько является частью процесса «настояния» или достижения интерпретаций, отражающих разные применения текстов читателями и критиками, – применения, которые, в свою очередь, могут выдержать критическую проверку. Поэтому, не погружаясь в слишком длинное теоретическое обсуждение подходящей для критики методологии (единственное и окончательное определение которой, по мнению Бута как защитника плюрализма и этического прочтения, невозможно), мы можем определить интеллектуально убедительные практики и дискурсы, не отдающие приоритета историческому способу понимания.

Хотя Скиннер прав, указывая в своих работах на то, что многие интерпретаторы политических текстов искажают смыслы мыслителей, ими изучаемых, часто такое искажение сопутствует любой работе критика, то есть определяется критической работой с аргументом, отличной от исключительно исторического суждения. Можно многое сказать об искаженном понимании Гоббса как собственнического индивидуалиста, не прибегая к лингво-контекстуальному аргументу, и тем самым подкрепить представление о том, что можно очень многое понять благодаря тщательному прочтению, сравнению и сопоставлению с другими текстами и мыслителями. Хотя значение тщательного прочтения легко преуменьшить – так же, как Скиннер преуменьшает заслуги исследований Джона Пламенаца, поскольку последний предполагает, что мы можем понять аргумент мыслителя, просто несколько раз тщательно его прочитав. Пламенац не был на самом деле неправ [Plamenatz, 1963]. Можно прочесть Фукидида в переводе и понять значительную часть его довольно сложных аргументов о значении исторических событий и идей. Несомненно, было бы лучше прочесть его на греческом, но просто неверно утверждать, что, если не читать в подлиннике и лишь в том же духе, что и его современники, невозможно понять смысл и ценность высказываний определенного автора. Задачи теории международной политики являются еще и нормативными, а в некоторых случаях и прескриптивными. Например, многие аргументы обосновывают и объясняют право на войну, а нормативные аргументы требуют нормативной критики. Таким образом, ясно, что наше исследование – не просто разновидность литературной критики, если только, разумеется, она не включает определенные этические и нормативные задачи.

Я также отвергаю ложную оппозицию мыслителей и текстов. В некоторых главах мы сосредоточиваемся на текстах, в некоторых – на определенном числе текстов одного и того же мыслителя, тогда как в других сравниваются два текста и мыслителя, что служит введению более общей теории или позиции. Соответственно, я не привожу исчерпывающих аргументов об исторической идентичности определенного мыслителя, текста, теории или содержащихся

в ней идей. Исторические утверждения я ограничиваю историческими сведениями, понимая при этом, что любые интерпретации такого рода являются частичными и неполными, хотя это и относится ко всякой интерпретации, ведь она никогда не может быть окончательной. В действительности такие интерпретации и критические разборы следует считать чем-то вроде «идеальных типов» Вебера или парадигм Куна. Они целенаправленно выносят за скобки некоторые аспекты полного описания, чтобы упростить объяснение и сравнение, но при этом объясняют нормативную силу того или иного подхода к политической агентности [Кун, 2003].

Томас Кун ввел идею парадигмы в своей исторической эпистемологии научного познания и изменения теорий, отказавшись от задачи выработки критерия научности как таковой, каковым могла быть, к примеру, фальсифицируемость Поппера [Поппер, 2005]. С точки зрения Поппера, признаком истинно научного утверждения является то, что оно в принципе может быть фальсифицировано опытом и контрпримерами, а если оно не было фальсифицировано, этот факт позволяет оценить его обоснованность. Утверждения, которые в принципе не могут быть фальсифицированы, особенно те, что включают в себя все возможные контраргументы, не являются научными – таковы религия, миф или всеобъемлющие научные теории вроде марксизма. Кун же отстаивал представление о науке, которое, по его замечанию, ближе к научной практике, где нормальная наука основывается на проработке проблем в рамках контекста, определяющегося общей парадигмой или концептуальным аппаратом. Перемены в науке характеризуются постепенным накоплением знаний в данной парадигме, но размечаются периодическими революционными трансформациями, меняющими общую рамку исследований в ответ на неустранимые аномалии в предшествующей парадигме. Эта идея иллюстрируется тем, как коперниканское гелиоцентрическое представление об универсуме изменило способ постановки вопросов космологами и астрономами, что, в свою очередь, позволило новой физике Галилея и Ньютона прийти на смену птолемеевскому универсуму, как он понимался в древности. Затем ньютоновская парадигма успешно прослужила общей концептуальной рамкой вплоть до Эйнштейна и квантовой революции начала XX в. И в том, и в другом случае Кун сосредоточивается на том, как мировоззрение новой парадигмы переоформляет нормальную практику ученых, большинство из которых работают над малыми поэтапными проблемами, не обращая внимания на общее согласование своей работы с трудом всех остальных ученых. Именно революции и сдвиги парадигм – вот что объясняет научный прогресс и вопросы, которые живут и умирают в нормальной науке.

Кун разработал свой язык парадигм, нормальной и революционной науки в специфическом контексте социологии знания и практики строгого научного исследования. А в менее строгом представлении о парадигмах как общих мировоззрениях или рамках, определяющих структуру обычной деятельности и понимание, они стали применяться многими исследователями как обозначение для замкнутых интеллектуальных аппаратов, которые влияют на способы определения проблем и языка деятельности. В политической теории и теории международной политики это позволяет выделять различные способы описания существа политики, не впадая в ошибочное представление о том, что существует лишь один бесспорный объект исследования, который постепенно раскрывается в историческом развитии или эволюции политической теории. Называя тексты, аргументы и мыслителей, представленных в этой книге, парадигмальными, я подчеркиваю то, что они определяют рамки осмысления природы политической агентности, ее институциональное и территориальное проявление, но не предполагаю при этом, что каждый мыслитель или аргумент участвует в прогрессивном движении, преодолевающим идеи каждого предыдущего мыслителя, включенного в мой нарратив. Эти обособленные парадигмальные взгляды можно поставить под вопрос или же преодолеть, опираясь на идеи других парадигмальных мыслителей в этом нарративе. Однако их ценность заключена прежде всего в том, что они служат примерами различных способов осмысления насилия, силы и конфликтов, то есть во вкладе в понимание различных политических вызовов.

Оправдание таких идеально-типических интерпретаций состоит в том, насколько они полезны для аргументов, проясняемых или выражаемых ими, а не просто в том, насколько они точны в качестве описаний намерений определенных исторических фигур, будь то авторы или их читатели-современники.

## Традиции – не обязательно традиции историцизма

В одном очевидном смысле мое нежелание определить историю, которая бы подкрепляла мой «канон» великих произведений (первоначально под каноном имелось в виду собрание священных текстов), само по себе достаточно интересно. В конце концов, я предлагаю хронологическую последовательность, которая начинается с древних греков, живших в V в. до н. э., и заканчивается такими мыслителями XX в., как Шмитт. Если такой нарратив – не история, то что? Однако хронология – это просто список текстов в порядке их написания или публикации. Он не предполагает обращения с прошлым как «прошлым», подводящего его под практическую или философскую интерпретацию, подчеркивающую значение самого его положения как «прошлого» [Oakeshott, 1983]. Выше я утверждал, что отнесение текста к прошлому не определяет в полной мере его интерпретации и критического применения. Но есть и другое измерение истории (противоположное простой хронологии), состоящее в том, что такая последовательность упорядочивается определенной философской категорией.

Для канона можно было бы привести ряд возможных упорядочивающих его нарративов, которые я открыто отвергаю, насколько обоснованно – решать читателю. Например, мы могли бы понять движение от одной главы к другой как «прогресс» в мышлении, то есть положительное развитие от греков к современному государству или его постмодернистскому замещению. Во многих историях политической или международной мысли используется такой нарратив прогресса, который часто называют «историей вигов». «История вигов» связывается с историком XIX в. Томасом Бабингтоном Маколеем, который считал английскую конституционную политику историческим триумфом принципов Славной революции, развивавшихся с 1688 по 1832 г. Такой подход, хотя он и может быть подходящим для политических или идеологических целей, подводит детали и сложности реальной политической мысли и реальных событий под заранее выбранную политическую цель, в случае вигов – под триумф английского политического либерализма. При этом утверждается, что у истории есть цель, осуществление которой ведет к господствующему в настоящий момент политическому порядку и его легитимации. Особенно внимательно я отношусь именно к этому риску. Поскольку я являюсь автором книги о политическом либерализме [Kelly, 2005], мне было бы очень легко впасть в эту ошибку и заявить, что история поддерживает триумф этих ценностей – что, собственно, и говорит тезис Фрэнсиса Фукуямы о конце истории, если следовать его грубой интерпретации. Конечно, довольно сложная аргументация Фукуямы на самом деле не предполагала такого наивного исторического детерминизма. Однако многие современные и известные из истории неолибералы, неоконсерваторы и марксисты разделяют такие именно грубые взгляды на логику истории и пытаются облечь их в аргументы Гегеля или Маркса. Либералы предполагают постепенную победу конституционных государств и свободных рынков, тогда как марксисты предлагают зеркальный образ прогресса, осуществляемого в цепочке кризисов, направленных в конечном счете на социалистическую революцию, которая должна отменить любую эксплуатацию и конфликт. Хотя их нарративы разнятся, в обоих подходах предполагается, что у истории есть определенная логика, которая ведет к искуплению человека. Проблемы, связанные с прогрессом, историческим изменением и самой идеей искупления, – темы, которые здесь исследуются иначе. Все мыслители, представленные в этой книге, бросают вызов либеральным и марксистским теориям модернизации и искупления, отказываются от них или же стремятся их опровергнуть.

Поэтому, чтобы избежать недоразумений, позвольте мне прямо сказать, что у истории нет логики, будь она либеральной, марксистской или какой-то иной. Если мы желаем защищать либеральные или консервативные ценности, демократию или автократию, тогда аргументы в их защиту должны быть самостоятельными, то есть их нельзя вывести из нарратива исто-

рии. Я хотел бы верить в то, что можно дать какое-то оправдание, основанное на идее «совершенствования», мирным, либеральным и человеческим ценностям, однако подобные тезисы требуют независимых аргументов, их обосновывающих. История может играть определенную роль в выработке подобных оправданий, но вся аргументация к ней не сводится. Она допускает альтернативные, не-прогрессистские нарративы, отрицающие наличие какого-либо пути к освобождению от угнетения и невежества и представляющие ее в качестве традиции угнетения и господства, причем политические идеи, известные из истории, предоставляют для этого идеологическое оправдание.

Другой способ понимания «истории вигов» или прогрессивных историй мысли, завершающихся триумфом человеческого освобождения, опровергает их, показывая, что люди, выступавшие защитниками свободы, в то же самое время оправдывали колониальную экспансию и господство, расовое подчинение и ориентализм [Саид, 2021]. В этом случае история раскрывает нарратив господства и конфликта. Сторонники деколонизации канона часто указывают на то, что западные политические теоретики раннего Нового времени, такие как Гоббс и Локк, были связаны с колониальной и имперской экспансией своих стран, даже если прямо не защищали конечную стадию колониального меркантилистского империализма. История колониализма и империи может предоставить важный контекст для интерпретации, даже если она не объясняет, что пытался сделать тот или иной автор. Более сложный вопрос состоит в том, подрывает ли такая связь аргументы подобных авторов, особенно если мы обсуждаем те их аргументы, которые прямо не выражают колониальное господство и не оправдывают его. Если мы пытаемся оправдать определенные политические ценности, опираясь на аргументы мыслителя прошлого, вполне может быть так, что наши аргументы будут подобным контекстом подрваны. Однако общий социально-экономический контекст или применение того или иного произведения не обязательно определяет значение такого произведения. Двуликий характер прогрессивных историй заставил таких постмодернистов, как Ж.-Ф. Лиотар, отказаться от любых метанарративов [Лиотар, 1998]. Канон мыслителей, представленных в этой книге, очевидно, уклоняется от прогрессистского прочтения теории международной политики, но точно так же он не подкрепляет и постмодернистскую критику, хотя и признает ценность подрыва наивного исторического оптимизма.

Уклониться от неявных метанарративов сложно, но можно, если только не верить в наивный исторический редукционизм, подчиняющий реальные идеи отдельных текстов и мыслителей подобным трансисторическим идеям. Совмещая разных мыслителей в одной последовательности, я хочу открыть пространство для сравнения и сопоставления, прояснить дискуссии о природе и объеме политической агентности на международном уровне, а не конструировать уже известную традицию, такую как «реализм», в рамках которой следует понимать международную политику. Такие метанарративы, как реализм, идеализм, либерализм и марксизм, – политические конструкции, берущие идеи отдельных мыслителей или ключевые понятия, связанные с определенными группами мыслителей, и объединяющие их так, чтобы они служили политической мотивацией. Подобный политический дискурс лучше всего называть идеологическим мышлением [Freedon, 1996]. Многие исследователи политической мысли относятся к идеологическому мышлению с пренебрежением, считая его фальшивой историей, категорической ошибкой или практическим искажением в прочтении того или иного мыслителя. Такая критика может оказаться чрезмерной. На самом деле нет ничего интеллектуально постыдного в таких идеологических нарративах, как «либерализм» или «реализм», если только они не сочетаются с неоправданными заявлениями причинно-следственного толка, призванными их якобы подкрепить.

Но если мы отвергаем любой упорядочивающий нарратив и идеологические конструкции канона, значит ли это, что у нас останется лишь список мыслителей, выстроенных в простом хронологическом порядке? В более сложных в философском отношении историях мысли,

которые не желают ограничиваться интерпретацией определенных мыслителей, часто применяется представление о «традициях», находящихся в том или ином диалектическом отношении друг к другу, в силу которого различные теоретические позиции развиваются из понятийных противоположностей, возникающих между позицией и ее «отрицанием» или антитезисом. Классическим примером является борьба индивидуализма и коммунитаризма. В этом случае история мысли объясняется как развитие традиций, отвечающих на противоречия во взглядах их философских предшественников. Этот подход можно увидеть в цепочке из трех традиций, выделенных Мартином Уайтом, а именно реализме, рационализме и революции, которые он назвал именами мыслителей, эти позиции выражающих, – традициями Макиавелли, Гроция и Канта [Wight, 1994].

Более сложная и безусловно философская теория такого типа предлагается также Дэвидом Бушером, который проводит различие между эмпирическим реализмом, универсальным нравственным порядком и историческим разумом. С точки зрения Бушера, эти конструкции не просто извлекаются из групп заранее проинтерпретированных теоретиков, как в случае Уайта. Скорее они используют философские понятия, выведенные из интерпретации этих мыслителей, но также ею и оправданные. Сами эти упорядочивающие понятия имеют философский статус. Они объясняют развитие идей не в категориях внешнего причинно-следственного описания исторических событий, но диалектического движения аргументов, преодолевающих собственные внутренние противоречия. Ценность таких философских историй в том, что они объясняют парадигмальную важность великих мыслителей в рамках канона, отличая их от менее значительных или второразрядных мыслителей. Также они признают значение подлинного философского диалога мыслителей. Например, Руссо, помимо всего прочего, еще и отвечал Гоббсу. Триадиические нарративы (как у Уайта или Бушера) – не единственные упорядочивающие традиции. Браун предлагает сходное диалектическое противопоставление космополитического и коммунитарного мышления, хотя и использует его для упорядочивания лишь современных теорий, а не значительных исторических периодов [Brown, 2002]. К тому же разряду можно отнести и хорошо известное противопоставление реализма и идеализма, которым была увлечена теория международных отношений на ранних этапах становления этой дисциплины. Одна из интерпретаций канона, представленного в этой книге, состоит в том, что он отображает «реалистическую» традицию, которую можно сопоставить с другими традициями в подобной исторической диалектике.

Классические традиции либерального или государственного прогрессизма легко подорвать, представив их в качестве хитрых оправданий колониализма или культурного империализма, в которых преобладает взгляд белых западных мыслителей. История теории международных отношений (пусть даже частичная, то есть покрывающая только одну ее часть, а именно реализм), включающая исключительно белых мыслителей, ставит серьезные и действительно оправданные вопросы относительно ее – как хранильницы истины или разума – претензии на универсальность. Если западный канон – не единственное хранилище разума и истины, тогда почему он не включает в свою историю незападных мыслителей? Простой, но поспешный ответ требует сузить историю географическими границами, указав на то, что возможны только частичные истории – нет полной глобальной истории осмысления международной политики. Но даже эта позиция не отвечает на вопрос о включении. Любое описание, претендующее на полноту, всегда может критиковаться на основе того, что оно кого-то включает, а кого-то исключает; оно подкрепляет утверждения о значимости, маргинальности и отсутствии самим этим включением и исключением. Некоторые основания для избирательного включения оправданы, поскольку хрестоматийные каноны часто ограничены доступностью текстов, используемых студентами в обучении. Было бы фантазией предполагать, что какое-нибудь поколение студентов сможет приобрести все книги (в основном в переводах), которые бы позволили создать действительно инклюзивную глобальную учебную программу

по теории международных отношений и истории политической мысли. В других случаях отбор не столь благотворен, поскольку он предполагает то или иное скрытое основание определенного канона текстов, которые не просто иллюстрируют различия в мысли, но сходятся к какому-то правильному способу жить и выстраивать политику вместе с международными отношениями. В этой версии, довольно распространенной в политической философии, отдельные главы – это просто стадии на пути к истине или правильному ответу.

Выбор представляет серьезную задачу для любого автора подобной книги, поскольку недостаточно сказать, что он не входил в мои осознанные цели. Всегда остается возможность, что критерии включения и общего нарратива содержат неявные «исключения» или метанарративы. Действительно, «деконструкция», пусть ее часто и порицали, занимается такой именно проблемой – разоблачением того, что понятийные языки всегда воплощают в себе те или иные исключения. Например, претензия, которую можно легко предъявить этой книге, состоит в том, что все рассматриваемые в ней мыслители являются мужчинами.

## Где женщины?

Является ли невключение женщин в мою подборку авторов просто упущением с моей стороны или предрассудком? Оставил ли их я вне канона из-за предрассудков относительно значения или проработанности идей мыслителей-женщин? Или же я работаю с пропитанным тестостероном представлением о международной политике и международных отношениях, которые всегда должны оставаться конфликтными, то есть с неизменно маскулинным подходом, в рамках которого высокие теории и важные философские концепции создаются именно мужчинами? Я, конечно, надеюсь, что это не так, однако в этой книге действительно представлен канон авторов, которые все являются мужчинами, и этот факт требует объяснения и оправдания.

Состав канона – не единственное законное место для вопроса «где же женщины?». Если посмотреть на аргументы и тексты почти всех авторов, обсуждаемых в этой книге, само место женщин в мире, описываемом ими, в лучшем случае проблематично, а в худшем – просто незаметно. В «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида женщины в качестве действующих лиц вообще не фигурируют. У него нет женщин-полководцев, ораторов, демагогов или обычных военных, а если они и появляются в повествовании, то лишь для того, чтобы пасть жертвой или быть проданными в рабство. У других исторических мыслителей или философов (таких, как Макиавелли или Гоббс) ситуация ничуть не лучше. Женщины не участвуют каким-либо значимым образом в событиях, институтах, нравственных практиках или концепциях политики, которые рассматриваются этими теоретиками, поголовно мужчинами. А если женщины как-то и фигурируют в их повествовании, то под такими гендерно нагруженными категориями, как «человек», который должен обозначать всякого человека, но на самом деле это не так. Итак, что же происходит и, главное, как объяснить и оправдать исследовательский канон, который не только исключает женщин, но и, судя по всему, отрицает опыт половины человеческого рода?

Для начала мне нужно обратиться к феминистской теории. Она – сравнительно новый подход, хотя подлинные феминистские теоретики политики (пусть и не международной), такие как Мэри Уолстонкрафт, существовали с XVIII в. И, конечно, о темах, рассматриваемых в этой книге, на ранних этапах писали многие незаслуженно забытые авторы-женщины [Owens, Rietzler, 2021]. Сюда принадлежали и ранние теоретики-феминистки, которых часто относят к первой волне феминизма, когда упор ставился на предоставление прав и привилегий мужчинам женщинам, традиционно таковых лишенным. Например, Уолстонкрафт утверждает, что права человека, популяризованные Томасом Пейном и французской Декларацией прав человека, должны быть предоставлены также и женщинам. Более поздние движения, требующие расширения избирательного права, также занимались вопросом равенства в области прав, свобод и привилегий, но не объяснением базовых структур власти, формирующих гендерные идентичности и в них господствующих. То есть эти движения были нацелены на открытый доступ к возможностям, а не на анализ самого процесса формирования таких возможностей. Теория первой волны феминизма стала реакцией на неравное применение традиционных политических теорий свободы и равенства. Только с появлением второй волны феминизма и феминистской теории в 1950–1970-х годах феминизм начал полномасштабную атаку на понятия, теории и терминологию, используемые для понимания социально-политических и международных отношений.

Наследие первой волны феминизма позволило открыть академический мир для женщин, выровняв доступ к ресурсам высшего образования и академических должностей, даже если теоретики первой волны в основном сосредоточивали свое внимание на внутренней политике. Значение этих перемен не следует недооценивать, однако они не позволяют решить всей про-

блемы. Это можно увидеть в отношении к канону мыслителей. Мне надо показать, что я не дискриминировал женщин, сосредоточившись на мыслителях-мужчинах, хотя имеются не менее достойные авторы-женщины. Существует ли канон столь же достойных женщин, которые могли бы быть включены, но я просто предпочел не обращать на них внимания? На этот вопрос относительно легко ответить отрицательно – хотя читателю или студенту предстоит решить, убедителен ли для него в конечном счете мой выбор [Zerelli, 2008]. Хотя есть исключительные авторы-женщины, писавшие о политике, праве и международных отношениях, эти женщины и правда исключительны, учитывая социальное, политическое и физическое исключение женщин из сферы образования, политики и публичной жизни, сохранявшееся на протяжении почти всей западной истории (да и истории большинства других цивилизаций с письменной традицией, ведь патриархат – проблема не только Запада). Соответственно, за несколькими достойными исключениями, представленными такими философами, как Кристина Пизанская и Мэри Уолстонкрафт, и такими авторами дневников и путевых заметок, как Мэри Уортли-Монтегю, не существует канона значимых теоретиков международных отношений, которых я бы проигнорировал или же дискриминировал, по крайней мере из числа авторов до XX в. Действительно, сам факт мужской власти, исключаящей женщин, – так называемый патриархат – полностью объясняет отсутствие значимых авторов-женщин в этом каноне вплоть до XX в. Это не означает отрицания того, что некоторые исключительные женщины – Клеопатра, Елизавета I, Екатерина Великая – обладали военной и политической властью.

Содержание этой книги не является примером открытой дискриминации или исключения равно достойных голосов. Но достаточное ли это оправдание для такого исследования? Здесь можно сделать не слишком лестный для меня вывод, хотя я его не принимаю: если верить мне, потребуются тысячелетия для того, чтобы создать гендерно-сбалансированные каноны исторической политической и международной мысли. То есть авторы-мужчины могут оставаться в нашем гендерно искаженном каноне, ожидая, пока политические и международные теоретики из числа женщин не догонят их на территории, которая была для них закрыта! За этой мыслью скрывается предположение о том, что человеческий опыт, институты и события, отображенные в теориях и понятиях, исследуемых в этом каноне, являются в каком-то смысле универсальными. Если так, проблема лишь в том, кто пишет о таком опыте, а тогда ее можно решить, произвольно распределяя гендерные местоимения – словно бы исследуемые идеи развивались и обсуждались женщинами, хотя на самом деле это было, конечно, не так. Но если вернуться к примеру Фукидида и месту женщин в его «Истории», где они в основном выступают жертвами насилия, мы можем увидеть более существенную проблему, не сводящуюся к исключению из числа авторов философского канона. Именно это и поняли феминистки и феминистские теоретики второй волны, совершившие поворот к обсуждению патриархата как социальной конструкции власти.

С 1960–1970-х годов вторая волна феминизма постепенно создала сложный корпус теории, в которой рассматриваются базовые структуры власти, определяющие гендерные идентичности вместе с их социально-политическими коррелятами. Стало ясно, что понятия, используемые нами для осмысления социально-политического мира, оформляются властными отношениями между мужчинами и женщинами. Сложные властные отношения реализуются благодаря языку и теории, но также они определяются дискурсом. Так, понятийный язык, описывающий природу человека и права человека, может показаться освободительным, но в то же время он предполагает концепции человека, являющиеся по сути маскулинными, а потому они ставят женщин в невыгодное положение, исключают их и способствуют их угнетению. Описать отношение между феминистскими теоретиками первой и второй волны можно, представив последних в качестве реакции на представление первых о процессе освобождения как уравнивании женщин с мужчинами и помощи женщинам в конкурентной борьбе, где предпочтение отдается маскулинности. Критика феминисток первой волны состоит в том, что они счи-

тают проблемой уравнивание возможностей, а не вызов самим скрытым властным структурам, эти гендерные возможности создающим. Феминистки, разработавшие теории заботы, часто критикуют индивидуализм теорий естественного права и прав человека, видя в нем признаки маскулинности, поскольку он отдает приоритет автономии и независимости, а не нравственным соображениям поддержания отношений, заботы и эмпатии. Может показаться, что теория заботы сводит такие взгляды к чисто женским качествам, вытекающим из биологической роли женщин, вскармливающих и растящих потомство, в противоположность мужским идентичностям защитника и добытчика. Но на самом деле теория заботы не обязательно требует такой биологической редукции. Даже если некоторые нравственные реакции социализируются через гендерные роли, определяемые заботой, такие реакции можно освободить от социально сконструированного женского опыта и использовать для критики и переоформления социально-политических отношений, искаженных маскулинными нравственными категориями, отражающими господство мужской власти. Подобный подход является ценным источником для критики парадигм политической агентности, обсуждаемых в данной книге. Однако исключение таких теоретиков – отрицание не их значимости, но лишь их релевантности, учитывая то, что задача книги не состоит в полном критическом обзоре всех возможных способов понимания политической агентности. Как я уже сказал в этом введении, представленный мной канон намеренно исключает взгляды, выводящие само понятие «политического» из таких нравственных понятий, как забота или справедливость.

Теория второй волны превратила феминистский анализ в критическую и нормативную теорию, которая видит в социально-политических отношениях социальные конструкции, заслуживающие анализа и преобразования, а не неизменные факты. Властные структуры и дискурсы достаточно подвижны, а потому могут быть преобразованы. Феминистский гендерный анализ – инструмент политики трансформаций, сегодня вышедшей за пределы распределения возможностей, прав, свобод и привилегий, поскольку он сосредоточивается на властных отношениях господства и подчинения, пронизывающих наши понятийные и философские языки.

Одно из следствий успеха феминистской теории второй волны – развитие политики идентичности, признающей разнообразие идентичности человека и властных структур, отраженных во множественной природе личной идентичности. Люди – не просто мужчины и женщины; они также обладают расовыми, национальными, сексуальными, гендерными, возрастными и классовыми идентичностями, которые в разных сочетаниях связывают их с социальными группами, в ряде случаев способными получать выгоду от властных отношений, но в других оказываемыми жертвами явного или скрытого угнетения: можно привести пример молодых черных, получивших университетское образование женщин из среднего класса и белых пожилых мужчин из рабочего класса без университетского диплома. Властные отношения по-разному включают и исключают, угнетают и подавляют разные группы, но ни одна группа не может быть полностью свободной от игры господствующих властных структур, осуществляющейся в обществе. С точки зрения некоторых теоретиков идентичности, этот факт сократил значение феминизма как освободительного проекта, поскольку он был сосредоточен лишь на одном месте угнетения и господства, но не обращал внимания на другие. Однако в гендерном угнетении есть нечто весьма важное и в историческом плане неизбежное, что многие теоретики выражают идеей интерсекционности, подчеркивающей то, как различные источники социальной и личной идентичности сложным образом связываются друг с другом в наиболее маргинализированных группах и голосах общества.

В свете этой критики второй волны, основанной в том числе на теориях идентичности, история мысли не может быть просто длинным списком авторов-мужчин. Такая история является гендерной и в том еще смысле, что понятийные языки и дискурсы, представленные ею, неизбежно отражают гендерные социальные отношения и патриархальное господство. В наиболее очевидных случаях это проявляется в отсутствии женщин, которые бы играли активную

роль, у Фукидида или же в явном сексизме Макиавелли. Но то же самое присутствует и в преимущественно маскулинном дискурсе о человеческой природе, естественном праве и правах у Гоббса или Руссо. Даже такие радикальные мыслители, как Ленин и Мао, сводят угнетение женщин к простому эпифеномену более важных классовых отношений, определяющих поздний капитализм. В таком случае не покажется ли нам, что эта книга действительно виновна в предъявленных ей преступлениях?

В ответ я могу признать значимость феминистской критики второй волны, но не думаю, что она опровергает концепцию этой книги. То, что ее нарратив открыт для феминистской критики, не означает ослабления тезиса, в этой книге представленного, поскольку я не собираюсь защищать содержание каждого аргумента от всякой или хотя бы какой-то критики. Сегодня действительно ведется работа по исследованию феминистского канона в теории международных отношений и в политической теории, особенно XX в. [Owens, Rietzler, 2021]. Здесь же задача – показать отсутствие намеренного исключения и в то же время признать, что основные вопросы заключены не в выборе канонических текстов, а в том, как они прочитываются. В конечном счете не существует такого собрания мыслителей прошлого, которое было бы свободно от гендерных властных отношений, да и в будущем не сможет возникнуть такая теория, которая так или иначе не участвовала бы в социальном конструировании дискурса. Феминистская теория или любая иная критика такого рода – это деятельность второго порядка, воздействующая на докритические интерпретации. Книга же такого рода, нацеленная на представление различных взглядов и подходов, логически предшествует такой деятельности второго уровня. Сведение одного к другому привело бы не только к иной книге, но и все равно оставило бы нетронутой первичную деятельность по интерпретации как демонстрации (состоящей в акте показа или презентации), за которой следует критика.

Я не провожу здесь феминистского исследования осмысления международной политики и не размышляю о том, могут ли обсуждаемые в этой книге подходы рухнуть при феминистской проверке. Однако я признаю, что для этой книги действительной проблемой может стать то, насколько она готова к критической работе с дискурсами власти, имманентно присутствующими в мысли и мыслителях, обсуждаемых в ней, и насколько она признает то, что эти теории и понятия способны подкреплять или объяснять эти отношения власти и господства.

## Обзор аргументации

Книга включает девять содержательных глав и одно заключительное эссе. В каждой главе представляется отдельная парадигма политики в международной сфере, не являющаяся стадией развития единого нарратива, который объяснял бы или легитимизировал актуальный мировой порядок. Хотя такие парадигмы могут развиваться и вырождаться, общая аргументация этой книги состоит в том, что они остаются важными источниками и структурами мышления, обращенного на международную политику и агентность. Ни одна из них не может ограничиваться прошлым, то есть ни одна не является предметом исключительного исторического или антикварного интереса. В изложении я придерживался общего хронологического порядка, однако он не призван проиллюстрировать то или иное историческое развитие.

Книга начинается с самого известного древнегреческого автора, писавшего о международных отношениях, как мы понимаем их сегодня. «История Пелопоннесской войны» Фукидида – один из основополагающих текстов, посвященных осмыслению международной политики. В этой главе дается общее представление о труде Фукидида и о его влиянии на теорию и историю, а также рассматривается его роль в качестве теоретика реализма. Я исследую природу и основания реализма как общепринятого взгляда на международную политику. Также Фукидид дает объяснение падения афинской демократии из-за военного давления, поэтому в главе рассматриваются такие темы, как демократия, стратегия и управление в военное время. Фукидид приводит описание системы греческих политических сообществ (полисов), которые функционировали без общего гегемона. Это модель международного порядка, по-прежнему господствующая в международных отношениях и дипломатии. Представленное им описание динамики международной политики и по сей день считается поучительным для современной международной политики и меняющегося мирового порядка.

В главе 3 мы обращаемся к периоду поздней Римской империи и к подъему христианства, отраженного в трудах Августина Гиппонского. Он считается одним из наиболее влиятельных мыслителей христианской эпохи. Его работы – важный источник идей о природе политики, войны и мира, а также критики теорий исторического прогресса. Политическое мышление Августина исследуется в обзоре его теологии и влияния его понимания христианского нарратива искупления на представления о природе, объеме и претензиях политической и моральной власти. Основной вопрос в том, к чему именно стремится христианство как доктрина – к утопическому и пацифистскому представлению о политических отношениях или же к политике и международным отношениям, которые лучше понимать как определенную разновидность реализма? Мысль Августина играет ключевое значение для развития теории «справедливой войны», она оказала существенное воздействие на развитие христианского реализма в XX в., ею же отмечен антиутопизм либерализма, утвердившегося после холодной войны.

Идеи Макиавелли анализируются в главе 4. Он является одним из наиболее спорных политических мыслителей, поскольку его идеи противоречат многим традиционным концепциям политики, предполагающим, в частности, первичную роль общего блага или необходимость ограничения политической власти моральными или этическими обязанностями. В контексте мысли о международной политике Макиавелли представляется реалистом и изобретателем идеи *raison d'état* (государственного интереса). Я выдвигаю более сильный тезис, утверждающий, что Макиавелли ставит под вопрос представление о любом стабильном политическом обществе или народе. Вместо этого он сосредоточивается на создании и обновлении политических сообществ в мире непрерывных перемен и революций. Также Макиавелли занимается характером руководства и тем, как следует использовать политическую власть, всегда временную и преходящую, для создания и поддержания политических режимов. Вместо того, чтобы прокладывать осторожный путь, обходя стороной идею этики в политике, он исследует

природу политической жизни за пределами моралистических, этических или легалистских рамок, ее ограничивающих. В этом отношении он бросает один из наиболее сильных вызовов концептуальным основам современной политики.

Томас Гоббс рассматривается в главе 5. Он является одним из первых великих теоретиков понятия суверенитета и современного государства, а также государственной системы, составляющей основу современных международных отношений. Его теория суверенного государства изложена в «Левиафане», и в главе исследуется место Гоббса в современной теории международных отношений наряду с его интеллектуальным контекстом и более общей материалистической философией человека. Гоббс дает описание человеческой природы и естественного состояния, а также предлагает договорную концепцию происхождения суверенной власти. Природа и масштаб Гоббсовской концепции абсолютизма – еще один интересный вопрос, как и отвержение им международного политического общества, производного от папизма раннего Нового времени. Он считает, что международные отношения – отношения исключительно между суверенными государствами, и этим объясняется, как современная теория международных отношений вписала его в традицию реализма или межгосударственной анархии.

Второй из великих теоретиков общественного договора – это Джон Локк. В отличие от Гоббса, Локк считается ранним либералом, поскольку он отстаивал конституционное ограничение суверенитета, защищающее права индивидов на жизнь, свободу и собственность. Глава 6 начинается с обзора его теории общественного договора и концепции конституционного суверенного государства. В вопросе о естественном состоянии, законе и естественном праве, а также в теории согласия Локк существенно расходится с Гоббсом. Также он сформулировал право на революцию и теорию собственности, связанную с торговлей и колониальными завоеваниями. Связь Локка с колониализмом и влияние последнего на его теорию были прояснены так называемым колониальным поворотом в современной политической теории. Я также обсуждаю теорию государства Локка и его взгляды на нормативный статус неконституционно ограниченных властей и то, в какой мере они должны признаваться легитимными государствами. Хотя часто Локка считают источником либерального идеализма, что оправдывается его моралистической теорией естественного права, его отношение к различию реализма и идеализма оказывается более сложным, в частности он защищал воинственный и захватнический либеральный порядок на международном уровне.

В главе 7 дается обзор работ Руссо и его влияния на мысль и теорию международных отношений. И опять же, основное понятие – это суверенитет, его политические и международные следствия. Однако основные аргументы Руссо связаны с идеей народного суверенитета и с тем, как понятие суверенной власти может поддерживаться и коллективно реализовываться свободным суверенным народом, состоящим из свободных граждан. В этом контексте они и представляются критикой и развитием понятия суверенитета, разработанного Гоббсом и Локком. Руссо критикует понятие государственного суверенитета как отдельной юридической и правовой структуры. С его точки зрения, суверенитет может быть лишь властью народа, действующего в согласии с общей волей. Чтобы быть суверенным народом, граждане должны считать себя не просто толпой или собранием индивидов, пытающихся обеспечить свои частные интересы и их защитить. Чтобы поддерживать идею суверенной общей воли, народу нужна сильная концепция идентичности, он должен избегать разлагающей власти торгового общества и космополитизма. Аргументы Руссо выступают предшественниками стремящегося к изоляционизму национализма и антикосмополитизма, которые недавно вернулись в антиглобалистских движениях, в политическом и экономическом национализме, национальной солидарности и подъеме политик идентичности.

Клаузевиц – необычная фигура в работах по истории политической мысли, обычно если его и обсуждают, то только в сносках к дискуссиям о государстве или же как маргинальную фигуру, интересную только профессионалам, занимающимся вопросами стратегии и войны.

В главе 8 мы сосредоточиваемся на великом тексте Клаузевица «О войне», являющемся трудом по политической теории ничуть не меньше, чем другие тексты, мной обсуждаемые. Для начала я определяю место Клаузевица в контексте военной и государственной теории, возникшей в Пруссии в ответ на Французскую революцию, идею прав человека и гражданина и последующие национально-освободительные войны. Я исследую методологию его военной теории в качестве развития новой полицейской науки, а также обсуждаю его понятие войны и представление о месте гения и трения, которое созвучно романтической критике грубого просвещенческого рационализма. Далее исследуется понятие «парадоксальной троицы» (которая описывает взаимодействие народа, армии и правительства), и особенно вопрос о том, сколько именно «троиц» в произведении Клаузевица – одна или две. Понятие «троицы» иллюстрирует проведенный Клаузевицем анализ глубинного взаимодействия ненависти, случайности и разума (или политической программы) как динамических сил, объясняющих войну и руководящих международными отношениями. Далее в этой главе рассматривается приоритет наступления или обороны при проведении военных операций, а завершается она обширным обсуждением влияния Клаузевица на современную эпоху со всем ее насилием и войнами.

Хотя, безусловно, Маркс оказал заметное влияние на развитие социально-политической теории, его доктрины существенно повлияли на мысль о международных отношениях в основном благодаря его последователям, особенно Ленину и Мао. Маркс предложил теорию революционного низвержения капитализма (или, как считают некоторые, предсказал его), но на самом деле именно Ленин в 1917 г. и Мао в 1949 г. осуществили две великие социалистические революции XX в. В главе 9 исследуются их работы, посвященные теории и практике революционной политики, оказавшие наибольшее влияние на теории международной политики. Краткое введение в Марксову концепцию предшествует обсуждению ленинской теории партии-авангарда как средства установления диктатуры пролетариата, каковую сам Ленин принимал совершенно всерьез и поставил ее в самый центр революционной борьбы. Далее рассматривается Марксова теория империализма как поздней стадии капитализма и роль насилия в революционном преобразовании государства. Мысль Мао впоследствии модифицировала наследие ленинизма в специфическом контексте китайской борьбы против империализма, создав теорию крестьянских масс как революционного класса, что означало изменение маоистской концепции революции. Я также изучаю работы Мао о революционной войне и роли партизанских сил. Завершается глава оценкой того, как мысль Ленина и Мао о практике революционной политики повлияла на современную политическую теорию и теорию международных отношений.

Карл Шмитт отвергает оптимизм современного международного либерального взгляда на глобальный порядок, господствовавший с конца Второй мировой войны. Шмитт, рассматриваемый в главе 10, – непримиримый консервативный мыслитель, оказавший влияние на теоретиков левого и правого толка. В международной системе государств он видел преграду против насилия и конфликта, которые, по его мнению, скрываются за универалистскими и глобалистскими тенденциями либеральной и революционной политики. Его идеи представляются ответом на упадок европейской власти, на идеологическое противоборство холодной войны и на возникновение новых глобальных гегемонов, таких как США. Шмитт критиковал либеральный оптимизм и глобализацию, одновременно пытаясь сохранить такие базовые понятия, как суверенитет, война и враг, представив их в качестве способа дисциплинировать политику и ответить на упадок государственной власти. Я рассматриваю предложенную Шмиттом критику либеральной демократии и его понятие «политического» в качестве исследования того, что такое суверенитет и каково его положение сегодня, после отказа от теорий либерального народного суверенитета и национализма. Наконец, я рассматриваю его критику глобального либерализма и международного права.

Каждая глава самостоятельна, может читаться и пониматься независимо от всех остальных. Однако сочетание этих парадигмальных подходов к природе, объему и организации международной политики и агентности показывает также важность трех связующих вопросов, размечающих общий нарратив. Такими вопросами являются насилие и политика, темпоральность и изменение, значение и смысл истории. Эти вопросы всплывают в концепциях различных авторов, рассматриваемых по отдельности, но также они иллюстрируются методологиями, используемыми при обсуждении этих вопросов, будь они историческими, философскими или политико-теологическими. В последней главе исследуется возрождение реализма как подхода к политической теории и то, как этот «реалистический поворот» проясняет или усложняет теорию международной политики, которая с подозрением относилась к гегемонии реализма в международных отношениях как более обширной дисциплине.

## Как пользоваться этой книгой

Каждая из глав, посвященная конкретному парадигмальному мыслителю, предлагает самостоятельное введение в его взгляды на международную сферу, причем я намеренно избегал таких тем повествования, которые бы охватывали несколько глав. Я надеюсь, что читатели захотят прочесть все, но студентам, как и любым другим читателям, интересующимся определенными авторами, полезно будет изучить соответствующие главы. Разбор каждого автора не предполагает согласия с его аргументами, скорее он проясняет необходимость понимания их структуры, благодаря которому только и можно их критически анализировать или (что еще важнее) организовывать в виде определенного интерпретационного нарратива, такого как политический реализм.

В каждой главе дается также общее историческое введение к соответствующим текстам, в котором рассматриваются критические темы и споры, позволяющие так или иначе проинтерпретировать представленные аргументы. Такой мыслитель, как Гоббс, написал много работ, однако я сосредоточиваюсь на аргументации «Левиафана» (1651) и выводах из него. В случае Руссо или Шмитта я связываю вместе несколько работ, чтобы выделить их основные аргументы, но даже тогда я не даю исчерпывающего обзора всех работ этих мыслителей. У Августина, Макиавелли, Руссо и Шмитта весьма обширный корпус произведений, но не все из них важны для понимания представленных здесь позиций. Мой анализ не предполагает того, что читатели уже знакомы с каждым из этих мыслителей, также я не требую от студентов освоения всех тонкостей каждого автора. Некоторые исследователи политической мысли тратят всю свою карьеру на какого-то одного автора или даже небольшую часть его работ. Эта книга не может осветить все на свете. Можно будет считать, что она достигла своей цели, если она заставит читателей вернуться к основным текстам или лучше познакомиться с актуальными академическими дискуссиями.

Необязательно читать главы в хронологическом порядке. Собственно, я прямо отрицаю то, что в нем присутствует постепенно развертывающийся исторический нарратив, определяющий аргумент о триумфе определенного способа организации политики или международных отношений. В принципе, с нарративом этой книги можно знакомиться и в обратном порядке, и тогда более поздние мыслители станут источниками идей и вопросов, используемых для структурирования интерпретаций их предшественников. Хотя прочтение прошлого в свете настоящего – хорошо известное основание философской критики, в некотором парадоксальном смысле для него есть место и на уровне интерпретации.

Все представленные здесь интерпретации и аргументы построены на значительном срезе научных исследований, посвященных каждому мыслителю и тексту. Было бы легко засыпать читателей сводками и списками исследований по каждому автору. Каждое предложение можно сопроводить обширными библиографическими примечаниями, поскольку сам акт академического письма всегда предполагает сложный синтез того, что было прочитано и доказано в каком-то другом тексте. Некоторые предложенные мной прочтения хорошо известны и могут показаться спорными, поскольку я занимаю определенные позиции в академических дискуссиях об интерпретациях и поскольку в них отражаются мои собственные исследования, занявшие несколько десятилетий. Я надеюсь, что читатели со временем смогут поставить под вопрос и обсудить эти прочтения. По этой причине в каждой главе приводится минимум внутренних ссылок. Когда же они все-таки даются, это ссылки на ключевые позиции в дискуссиях, а не просто на источники определенной идеи, поддерживающей мою интерпретацию определенного пассажа. Я попытался сократить число ссылок на работы коллег, поскольку стремлюсь сосредоточить внимание читателя на основном тексте, но, возможно, я не везде преуспел в этом.

В библиографии, помещенной в конце каждой главы, приводятся некоторые из наиболее важных академических работ, на которые я опирался, а также работы, где лучше всего рассматриваются проблемы, освещенные в данной главе. Библиография не стремится к полноте – да она и невозможна, – однако она помогает читателю, обладающему доступом к университетским или публичным библиотекам, следовать за моим изложением и ставить вопросы, с ним связанные. Что касается первоисточников, я выбрал легко доступные и в то же время авторитетные академические издания. Иногда я приводил достаточно обширные цитаты, руководствуясь обычными принципами академического добросовестного использования. Приводимых цитат достаточно, чтобы читатель мог понять ключевые аргументы. Тем не менее ни один из аргументов или тезисов касательно того или иного мыслителя не зависит от какого-то конкретного перевода или издания, и именно поэтому я не стал приводить цифровых ссылок на соответствующие текстовые версии. Любой доступной в сети версии будет достаточно для первоначального понимания и знакомства с основными мыслителями. Также я не даю ссылок, которые бы зависели от конкретной даты, у меня нет баз данных или эмпирических материалов, которые требовали бы прямой ссылки и которые могли бы стать недоступными.

Также библиография включает краткий список ключевых комментариев по каждому мыслителю. Наряду с этим приводятся и советы по поиску версий первоисточников, находящихся в открытом доступе, – для читателей, не имеющих доступа к публичным или университетским библиотекам.

## Библиография

- Гэддис Дж. Л.* (2021). О большой стратегии. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
- Коллингвуд Р. Дж.* (1980). Идея истории. Автобиография. М.: Наука.
- Кун Т.* (2003). Структура научных революций. М.: АСТ.
- Лиотар Ж.-Ф.* (1998). Состояние постмодерна. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя.
- Поппер К.* (2005). Логика научного исследования. М.: Республика.
- Саид Э.* (2021). Ориентализм. М.: Музей современного искусства «Гараж».
- Скиннер К.* (2018). Истоки современной политической мысли: в 2 т. М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС.
- Фегелин Э.* (2021). Новая наука политики. Введение. СПб.: Владимир Даль.
- Фукуяма Ф.* (1990). «Конец истории?» // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148.
- Фукуяма Ф.* (2020). Конец истории и последний человек. М.: АСТ.
- Хабермас Ю.* (2005). Политические работы. М.: Праксис.
- Armitage D.* (2012). Foundations of Modern International Thought. UK: Cambridge University Press.
- Barry B.* (1965). Political Argument. UK: Routledge and Kegan Paul.
- Booth W.C.* (1979). Critical Understanding: The Powers and Limits of Pluralism. USA: University of Chicago Press.
- Booth W.C.* (1988). The Company We Keep: An Ethics of Fiction. USA: University of California Press.
- Boucher D.* (1985). Texts in Context. Netherlands: Martinus Nijhoff.
- Boucher D.* (1998). Political Theories of International Relations. UK: Oxford University Press.
- Brown Ch.* (2002). Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today. UK: Polity Press.
- Brown Ch.* (2015). International Society, Global Polity. UK: Sage.
- Brown Ch., Ainley K.* (2005). Understanding International Relations. 3rd edn. UK: Palgrave.
- Brown Ch., Eckersley R.* (eds) (2018). The Oxford Handbook of International Political Theory. UK: Oxford University Press.
- Bull H.* (2002). The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. 3rd edn. UK: Palgrave.
- Doyle M.W.* (1997). Ways of War and Peace. USA: Norton.
- Forrester K.* (2019). In the Shadow of Justice: Postwar Liberalism and the Remaking of Political Philosophy. USA: Princeton University Press.
- Freeden M.* (1996). Ideologies and Political Theory a Conceptual Approach. UK: Oxford University Press.
- Habermas J.* (2005). Old Europe, New Europe, Core Europe / D. Levy, M. Pensky, J.C. Torpey (eds). UK: Verso.
- Kelly P.* (1998). Contextual and Non-Contextual Histories of Political Thought // Hayward J., Barry B., Brown A. (eds). The British Study of Politics in the Twentieth Century. UK: British Academy. P. 37–62.
- Kelly P.* (2005). Liberalism. UK: Polity.
- Lasswell H.* (1936). Politics: Who Gets What, When and How. UK: McGraw Hill.
- Macpherson C.B.* (1962). The Political Theory of Possessive Individualism. UK: Oxford University Press.
- Moller-Okin S.* (2013). Women in Western Political Thought. USA: Princeton University Press.

- Nye J.* (2015). *Is the American Century Over?* UK: Polity.
- Oakeshott M.* (1983). *On History and Other Essays.* UK: Blackwell.
- Owens P., Rietzler K.* (2021). *Women's International Thought: A new History.* UK: Cambridge University Press.
- Plamenatz J.P.* (1963). *Man and Society.* 2 vols. UK: Longmans.
- Skinner Q.* (1969). *Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory.* Vol. 8. P. 3–53.
- Strauss L., Cropsey J.* (1987). *History of Political Philosophy.* USA: University of Chicago Press.
- Waltz K.N.* [1979] (2010). *Theory of International Politics.* USA: Waveland Press.
- Wight M.* (1994). *International Theory: The Three Traditions / G.Wight, B.E. Porter (eds).* UK: Leicester University Press.
- Zerelli L.* (2008). *Feminist Theory and the Canon of Political Thought // J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips (eds). The Oxford Handbook of Political Theory.* UK: Oxford University Press. P. 106–124.

## **Часть I**

# **Конфликт, война и правление до эпохи государств**

### **Глава 2. Фукидид. Естественность войны**

«История Пелопоннесской войны» Фукидида – один из основополагающих текстов о международной политике. В этой главе дается общее представление о труде Фукидида и о его влиянии на теорию и историю, а также рассматривается роль, которую Фукидид сыграл в качестве теоретика реализма. Я исследую природу и основания реализма как общепринятого взгляда на международную политику. Также Фукидид объясняет падение афинской демократии под грузом войны, поэтому в главе рассматриваются и такие темы, как демократия, стратегия и руководство в военное время. Фукидид описывает систему греческих политических сообществ (полисов), которые функционировали без общего гегемона. Это модель международного порядка, по-прежнему господствующая в международных отношениях и дипломатии. Такое описание динамики международной политики и по сей день считается поучительным для современной международной политики и меняющегося мирового порядка.

До войны в Персидском заливе 2003 г. комментаторы и академические ученые в спорах о войне и ее ведении часто ссылались на греческого историка Фукидида. Этому не стоит удивляться, если вспомнить о классическом образовании журналистов и академиков, иногда пишущих колонки в популярной прессе, но на Фукидида часто кивали и профессиональные военные западных армий. Работа Фукидида остается составной частью академического курса для офицерского состава, особенно (хотя не исключительно) в США. Многие генералы (например, Колин Пауэлл) цитировали (иногда с ошибками) Фукидида, используемого в таких случаях для интеллектуального оправдания стратегии или доктрины. Творцам внешней политики, защищающим или критикующим войну по осознанному выбору, уроки Фукидида представляются слишком подходящими, чтобы их игнорировать. И такое отношение к нему возникло не вчера. Военных и политиков, как, собственно, и ученых, всегда тянуло к истории Фукидида, описывающей относительно короткий промежуток борьбы двух важнейших древнегреческих полисов, над которыми висела тень Персидской империи [Morley, 2014]. Конечно, многие великие тексты по истории используются для оправдания, прояснения или представления позиций, идей и принципов, которые сам автор не мог иметь в виду. Однако в Фукидиде есть особая сила, важная тем, кто занимается теорией международной политики [Boucher, 2018]. Он не ограничивается простым рассказом о событиях, и его рассуждения невозможно читать, не замечая параллелей в современных событиях, героях и решениях. Особенно интересно в этом отношении то, что бывший декан Гарвардской школы государственного управления им. Кеннеди Грэм Аллисон выдвинул тезис о так называемой ловушке Фукидида, описывающей проблемы США, которые вынуждены реагировать на неизбежный подъем Китая, рвущегося к статусу глобальной державы [Аллисон, 2019].

Макиавелли, более поздний мыслитель, как известно, призывал к исследованию древней и особенно римской истории, в которой, по его словам, можно найти поучительные уроки для его собственного времени, поскольку природа человека, по сути, неизменна, а потому прошлое – источник знаний, аргументов и выводов, важных и сегодня. Но сегодня мало кто читает

Макиавелли с той же целью. Фукидид же, похоже, позволяет взглянуть на политику более поздних эпох, в том числе и нашей собственной. По одной этой причине «История» Фукидида остается для меня одним из наиболее пронзительных и провокационных текстов в любом каноне мысли о международной политике и одной из немногих книг, которые можно изучать бесконечно. Вот почему он представляется удачным отправным пунктом для этой книги, в отличие от Геродота, с которого начинается свой рассказ о политической теории Райан [Ryan, 2012, p. 5–31], ведь Фукидид описывает многие проблемы, считающиеся каноническими для теории международных отношений и для традиции реализма, существующей в этой дисциплине. Фукидида в целом считают первым и, пожалуй, самым великим теоретиком международных отношений, и не важно, выдерживает ли это утверждение академическую критику.

О жизни самого Фукидида мы знаем сравнительно мало, если не считать того, что раскрывается в самой его книге, где представлена и его собственная роль в событиях, о которых он рассказывает. Он родился между 460 и 455 гг. до н. э. Когда началась описываемая им война, ему было 25 или чуть больше лет, то есть он был не намного старше большинства современных студентов университетов и военных академий. Фукидид родился в богатой и знатной афинской семье (хотя его имя было фракийским, а не афинским). О его высоком социальном статусе говорит не только его происхождение, но и тот факт, что он поддерживал Перикла (одного из главных героев в рассказе Фукидида об афинской стратегии и политике) и враждебно относился к другим персонажам, таким как Клеон, ассоциировавшимся с популизмом и вульгарностью «новых денег». Этим, возможно, объясняется то, почему Райан называет Фукидида консерватором [Ibid., p. 12] и почему ему симпатизировал Лео Штраус, хотя он и не входил в канон философов [Штраус, 2021, с. 323–501]. В начале войны Фукидид принял участие в ряде кампаний, а затем был избран военачальником и в 424 г. до н. э. командовал военно-морской эскадрой в районе Фракии и главной тамошней афинской колонии, Амфиполиса. Когда Амфиполис пал под натиском спартанского полководца Брасида, Фукидида судили, признали виновным в предательстве и приговорили к изгнанию. Именно в период изгнания он начал писать свою историю. Своей книге он не дал формального наименования, однако она дошла до нас под разными названиями – «Война между лакедемонянами и афинянами» и под более распространенным названием «История Пелопоннесской войны». Фукидид дожил до окончательного поражения Афин от Спарты и до заката Афинской империи, однако он так и не смог закончить свой труд, который, как известно, обрывается на середине фразы: «Прибыв сначала в Эфес, Тиссаферн принес жертву Артемиде...» (книга VIII. 109) [Фукидид, 1981, с. 400].

Фукидид сравнивает свою работу с мифологиями, например гомеровской, и с более поздними способами описания, такими как «История» Геродота. Это делает его труд одним из наиболее важных ранних примеров исторического повествования. Однако его исторические достижения могут сбить с толку и отвлечь внимание от его вклада в политическое мышление. Не оспаривая его важности в роли историка и вклада в развитие историографии, я в основном буду рассматривать здесь его значение для осмысления международной политики и политической теории. Идея Фукидида будет использоваться для иллюстрации одного важного тезиса этой книги, а именно что историки часто оказывались самыми тонкими и пронзительными теоретиками (то есть по сути философами) политики и международных отношений. Однако Фукидид не предлагает никакой концепции человеческого блага или идеального политического устройства, посредством которого такое благо может быть реализовано, а потому не соответствует господствующему представлению о задаче политической философии. Это ставит под вопрос категориальные различия и иерархию опыта, важную для большинства авторов, пишущих об истории политической мысли и теории международной политики [Oakeshott, 1975; Boucher, 1998].

Хотя Геродота и Фукидида обычно считают равновеликими основателями истории как особого типа исследования, многие более поздние исследователи придерживаются тезисов

самого Фукидида, заявившего, что он строгий историк, а не рассказчик историй. Свою книгу он начинает с размышлений о деятельности, ныне называемой историческим исследованием, и дает ясное и убедительное ее определение:

Как ни затруднительны исторические изыскания, но все же недалек от истины будет тот, кто признает ход событий древности приблизительно таким, как я его изобразил, и предпочтет не верить поэтам, которые преувеличивают и приукрашивают воспеваемые ими события, или историям, которые сочиняют логографы (более изящно, чем правдиво), историям, в большинстве ставшим баснословными и за давностью не поддающимися проверке. На основании приведенных выше очевидных доказательств он сможет убедиться, что результаты исследования столь древних событий достаточно надежны (книга I. 21) [Фукидид, 1981, с. 13].

Под «поэтами» Фукидид имеет в виду Гомера, а под «логографами» – Геродота, жившего почти в то же время, что и он. Приверженность фактам и доказательствам, признаваемым свидетелями событий, – важное основание для его претензии на научную историю. Его установка превозносилась множеством более поздних авторов – и в Древнем мире, и в Новое время (например, Томасом Гоббсом), и в наши дни. Его эмпирический, обоснованный фактами подход получает вполне определенное выражение в подробном рассказе о событиях, изложенных в хронологическом порядке.

Однако опора на факты сочетается у него и с другими элементами, подкрепляющими его право быть основателем истории как определенной формы исследования. Что именно считать фактами – по-прежнему важный для всех историков и в философском отношении спорный вопрос. В конце концов, одним из ключевых элементов всякого исторического нарратива является объяснение и оправдание релевантных фактов. Например, в XX в. историки-структуралисты, изучавшие *longue durée* – «большую длительность», – такие как Фернан Бродель, представили климат и географию в качестве основных фактов (при этом почти полностью исключив индивидуальных акторов и то, что они делают друг с другом). Фукидид же в определении того, что считать фактичностью, в значительной мере опирается на своего рода рационалистический натурализм. В отличие от Геродота, он в своем повествовании не отводит практически никакого места богам или объяснениям сверхъестественного. Хотя о предзнаменованиях (признаках того, что произойдет в будущем) и упоминается, в описаниях событий основными игроками не являются ни они, ни боги. Точно так же об извержениях Этны сообщается как о всего лишь фоновом геологическом событии. Для его современников оно было очень важным, поскольку большинство из них все еще жило в мире, определяемом сверхъестественными силами. Действительно, переданное в рассказе Фукидида осквернение герм, произошедшее перед Сицилийской экспедицией, показывает, насколько, с точки зрения большинства афинского населения, религия и сверхъестественное были важны для политики. Его скептическое отношение к сверхъестественным силам особенно заметно в рассказе о чуме, поразившей Афины, которая описывается как социальный и клинический факт, но не как послание от богов. С точки зрения Фукидида, все причинно-следственные объяснения можно достаточным образом обосновать естественными фактами из жизни отдельных людей, политических сообществ и институциональных культур, этих индивидов порождающих.

Другой элемент его истории, превознесенный последовавшими за ним историками, – его предположительная беспристрастность в объяснении событий. Фукидид был коренным афинянином и ветераном войны, особенно безуспешной обороны Амфиполиса. Однако он сумел избежать апологии афинской позиции и не стал использовать историю в качестве личного оправдания собственных действий или же как аргумент против его обвинителей. Наконец, хотя в его истории немало драматических событий, она написана достаточно сухо и не призвана раз-

влечь читателей. В полную противоположность Геродоту с его интересными отступлениями, размышлениями и местными подробностями, Фукидид почти всегда сосредоточен на событиях, развивающихся в своей собственной логике. Эта черта настолько у него выражена, что многие более поздние читатели считали ее едва ли не недостатком его труда, поскольку она сужала риторическую и дидактическую пользу книги в обучении будущих политиков. Современные авторы хвалят Фукидида за то, что он сосредоточивается на событиях, описывая то, как именно они происходили. И хотя он определенно считает, что его «История» останется вечной ценностью для будущих поколений, он пишет как ученый, организующий материалы так, чтобы они раскрыли истину.

В то же время одна черта его исследования смущала современных теоретиков истории как науки – опора на речи. Примерно четверть всего текста состоит из прямой речи, в том числе из некоторых выступлений, которые стали главной составляющей текста для более поздних читателей. Если Фукидид намеревался писать историю как науку, как он мог настолько полагаться на выступления? Будучи современником и участником описываемых событий, Фукидид был свидетелем некоторых из этих речей, или же у него могли иметься письменные тексты, с которыми он сверялся. Однако в случае многих других представленных им речей он должен был полагаться на пересказы, проверить которые невозможно, или даже на реконструкции, создаваемые постфактум путем сопоставления свидетельств. Некоторые философы истории критиковали его метод именно в этом пункте, поскольку он позволяет управлять нарративом философским спекуляциям, а не одному лишь историческому сознанию – поэтому-то Р.Дж. Коллингвуд предпочитал Фукидиду Геродота [Коллингвуд, 1980]. Однако, хотя Фукидид и правда часто использовал тексты речей, он следил за тем, чтобы они не были слишком дидактичными и не отвлекали от повествования о фактическом контексте. Моя цель состоит здесь не в историографии и не в изучении развития истории как науки, поэтому для нас в конечном счете не важно, удастся ли Фукидиду написать действительно научную историю Второй Пелопоннесской войны. Достаточно того, что, хотя историчность его нарратива действительно можно поставить под вопрос, причем по разным причинам [Kagan, 2009], он считается достаточно точным для того, чтобы и по сей день оставаться первичным источником для общего описания Второй Пелопоннесской войны в таких работах, как «Кембриджская история древнего мира».

Становится ли нарратив Фукидида в силу включения в него политических речей как систематического изложения политических позиций более удобным источником для политической теории? Что бы Фукидид ни делал, он точно не занимался абстрактным философским исследованием, которое можно найти у Платона и Аристотеля. Означает ли это, что Фукидиду не удалось стать ни настоящим историком, ни настоящим философом? В этой главе доказыва­ется, что метод Фукидида и его содержательные аргументы составляют важный вклад в теорию международных отношений, ставящий его на одну доску с великими каноническими философами, но сначала мне надо кое-что сказать о Фукидиде как теоретике.

С точки зрения исследователей политической теории, вопросы демаркации играют ключевую роль в определении того, что же представляет их предмет исследования. Современная аналитическая философия относится довольно спокойно к вопросу о том, что значит философствовать или мыслить философски. Философия – не наука, а потому не может обладать определенным корпусом знаний, принадлежащим только ей и никому другому. Скорее, это определенная форма интеллектуальной дисциплины, характеризующейся, с точки зрения аналитических философов, логическим и лингвистическим анализом и критикой аргументов. С другой стороны, исследователи истории политической философии, в частности последователи Лео Штрауса, придерживаются содержательного взгляда на политическую философию, считая, что она сосредоточена на благой жизни человечества и на соответствующих институтах, в которых такая форма жизни может процветать [Strauss, Cropsey, 1987]. Однако, даже

по их собственным стандартам, такой подход кажется произвольным, своего рода тавтологическим определением, что ясно показывает включение главы о Фукидиде в 3-е издание книги Штрауса и Кропси «История политической философии».

С точки зрения авторов, сформировавшихся в идеалистической философской традиции, например Оукшотта и Бушера, философия – это не просто применение определенного интеллектуального инструментария, она включает также и категориальное отличие этой деятельности от других форм человеческого опыта. Соответственно, для таких мыслителей различия между историками, политическими памфлетистами и философами имеет ключевое значение. Однако различие – не единственная проблема, поскольку важна также и иерархия разных видов опыта. Проведение различия между разными видами опыта – одно, а наделение наиболее высоким статусом самого абстрактного вида опыта – совершенно другое. Абстракция – просто инструмент мысли, который в основном работает за счет «заклучения в скобки» предикатов суждений, и неочевидно то, что она является высшим источником мудрости. В самом деле, ее претензия на превосходство состоит в том, что она может дать наиболее широкое и общее описание человеческого опыта, в которое укладываются все остальные его разновидности. В этом отношении философия – это деятельность более высокого порядка, исследующая предпосылки всякого иного вида опыта или деятельности. И, конечно, условия самой философии – один из первичных вопросов философии.

Такой подход может быть интересным в качестве интеллектуального упражнения, однако он покоится на ряде тезисов, с философской точки зрения сомнительных, а когда он применяется к категоризации рефлексивного мышления, то обходит те вопросы, которые сам же ставит. Если задача просто в том, чтобы провести различия между разными способами прочтения текста, тогда для установления иерархии опыта стодится едва ли не что угодно и читатель должен сам определить свой интерес. Однако иерархии такого рода носят также прескриптивный характер, ставя под сомнение значимость разных способов осмысления мира. Поэтому они могут подвергаться критике в зависимости от того, как именно они искажают понимание, в том числе предрассудками. Например, если история и философия – категориально разные виды деятельности, тогда метод Фукидида является смешанным, поскольку в нем сочетается два подхода. Но если мы ставим под вопрос категоризацию, подкрепляющую подобную интерпретацию, тогда его подход, не будучи ни в коем смысле смесью двух первичных методов, оказывается единым способом осмысления мира, первичным и более фундаментальным по сравнению со способами, ориентируясь на которые мы, возможно, хотели бы охарактеризовать его аргументацию. Категории истории и философии не определяются заранее, но теоретически выводятся из разных видов опыта, представляясь способами осмысления такого опыта и в то же время ответом на опыт мира. Притязание на превосходство, характерное для более высокого философского взгляда на этот вопрос, само является исторической и философской абстракцией от условного вида опыта. Следовательно, у всех таких подходов есть герменевтическое основание, само всегда являющееся определенным историческим философским взглядом. Превосходство аргументации и подхода Фукидида в сопоставлении с более абстрактными теориями всегда является условным и сравнительным, однако оно может обосновываться тем, что его метод признает обязательное взаимодействие действия и рефлексии. И именно это качество по-прежнему притягивает его поклонников к его размышлениям о международной политике, несмотря на то что он описывает события, произошедшие два с половиной тысячелетия назад.

## **Общая история пелопоннесской войны**

Работа Фукидида – не единственный источник сведений о войне спартанцев и афинян, произошедшей в 431–405 гг. до н. э., о событиях и героях этой истории. Однако значение

и величие его книги таково, что именно она определила общую картину этой войны, то, как ее стали понимать более поздние историки и теоретики. И это не настолько самоочевидно, если учесть то, что война, о которой рассказывается у Фукидида, продлилась 27 лет, причем она разделялась на два периода, которые явно связываются друг с другом как части одного и того же конфликта (книга V. 5.26.1–2) [Фукидид, 1981, с. 231]. Также эта война отличается от более раннего периода конфликта между Спартой и Афинами, который последовал за предшествующей Персидской войной и вторжением персов в 480–479 гг. до н. э. То есть она могла интерпретироваться как часть более длительной борьбы или же как серия различных кампаний и конфликтов, связанных друг с другом достаточно слабо.

Во время персидского вторжения 480–479 гг. до н. э. Спарта выступила главой Пелопоннесского союза, а также была выбрана греческими полисами, образовавшими коалицию, в качестве лидера греческого сопротивления. (В этой главе я для перевода греческого термина «полис» использую термин «государство», помня при этом о существенных различиях между полисом и современным национальным государством, которое появится в Европе только спустя 20 столетий.) В этом плане Спарта и Афины стали союзниками в борьбе против более мощного общего врага, однако Спарта считалась в Греции ведущей сухопутной и морской державой, то есть гегемоном. Спарта была страной глубоко консервативной, милитаристской и ориентированной в основном на сухопутные силы. У нее был относительно небольшой корпус граждан-спартиатов (мужчин равного статуса), которые с раннего возраста проходили суровое военное обучение, позволявшее им стать бесстрашными воинами-пехотинцами. Это обучение воспитывало физически сильных и самостоятельных воинов, при этом отличавшихся абсолютной верностью. Подростки воспитывались в суровом (спартанском) режиме, без каких-либо удобств и часто даже без еды – только так можно было воспитать в них самостоятельность. Также они должны были учиться сражаться со взрослыми воинами. *Спартиаты* стали военной аристократией, господствовавшей над более многочисленным классом илотов или крестьян, составлявших основу спартанского общества. Женщины в спартанской политике были даже еще менее заметны, чем в традиционно мужском мире греческой политики в целом. Илоты как класс жестоко подавлялись, в том числе в периодически проводившихся малых внутренних войнах. Авторство конституции Спарты приписывалось законодателю Ликургу, ее яростно защищали и редко вносили в нее изменения. Структура правления спартиатов была сложной и включала в себя монархию во главе с двумя избираемыми царями, аристократический совет из 28 членов и пятерых эфоров, или магистратов, отвечавших прежде всего за внешнюю политику и войны. Наконец, существовала в Спарте и ассамблея из всех мужчин старше 30 лет: решения в этом собрании принимались путем аккламации (или крика), а не споров.

Во время Персидской войны Спарта была ведущей сухопутной державой греческого мира. Однако в годы перед Персидской войной Афины построили крупнейший за всю греческую историю флот, который и стал ядром флота греческого, разбившего силы персов в битве при Саламине в 480 г., а затем в битве при Микале в 479 г. до н. э. Поражение персов при Микале совпало с поражением Персии, разгромленной Спартой в крупной сухопутной битве при Платеях, что, с точки зрения спартанцев, создавало возможность появления новой важной силы в греческом мире. Хотя спартанцы нанесли поражение Персии на суше и вынудили ее отступить из континентальной Европы, они были равнодушны к судьбе греческих полисов в Эгейском море, все еще остававшихся под персидской властью. Это создало для афинян возможность расширить свое влияние, освободив эти полисы или поддержав те, что восстали против персов. Такие полисы объединились с Афинами, образовав Делосский союз, ставший основой новой Афинской морской империи.

Афины были крупнейшим в Греции полисом, число граждан которого составляло около 40 тысяч человек (особенно если сравнивать со Спартой, где было только 4 тысячи спартиатов). Афинская конституция была демократической, хотя статуса гражданства было лишено

еще большее мужское население – более 200 тысяч человек, включая рабов, иностранных работников (так называемых метеков) и слишком бедных, чтобы служить гоплитами, жителям. Гоплиты должны были покупать доспехи и оружие самостоятельно, подготовка к военной службе была условием права голоса. И опять же, женщины были исключены из политического класса, а потому они не фигурируют в картине афинской демократии, представленной у Фукидида. Афины были относительно открытым торговым городом, с чем и было связано наличие обширного военного флота и ориентация на Эгейское море и приморские территории, а не сухопутную империю в Пелопоннесе. Решения в афинской демократии принимались голосованием – результат определялся простым большинством. Десять военачальников, являвшихся высшими военными руководителями афинского государства, избирались голосованием, однако большинство других управленческих постов распределялось путем жеребьевки, в том числе и членство в Совете 500, в котором готовились законодательные решения. Предполагалось, что у всех граждан достаточно способностей осуществлять общую власть демоса, и все по очереди играли роли правителей и подданных, хотя, конечно, некоторые неизбежно в конце концов занимали выборные должности в течение нескольких сроков.

Подъем Афин, ставших второй державой-гегемоном, считается одной из причин войны со Спартой и источником современного представления о «ловушке Фукидида», в которой возвышение новой державы-гегемона провоцирует войну или враждебные действия на тот момент господствующей державы (гегемона), главная опасность для которого – оказаться на вторых ролях. Это представление о борьбе между поднимающейся державой и действующим гегемоном и является, по Аллисону, ключом к пониманию важных структурных перемен в международной политике, и сегодня ту же ситуацию определяет развитие Китая, бросающего вызов господству США. Не все такие «ловушки» заканчиваются войной, однако исследование подобных исторических обстоятельств важно, если мы хотим войны избежать [Аллисон, 2019]. Некоторые исследователи Античности оспаривают возможность говорить о «ловушке Фукидида» как таковой или же делать обобщения на основе специфических обстоятельств Древнего мира. В оставшейся части этого раздела я буду рассматривать конкретные (а не общие) причины войны между спартанцами и афинянами.

Зависть спартанцев к усиливающемуся Делосскому союзу привела к ряду военных столкновений, составивших Первую Пелопоннесскую войну 460–445 гг. до н. э. Она завершилась Тридцатилетним миром, по условиям которого каждая сторона признавала сферу влияния другой – за Афинами оставалась их морская империя, а Спарта закрепляла за собой статус ведущей сухопутной державы Пелопоннеса. Следует отметить, что название «Тридцатилетний мир» не означает того, сколько времени он реально продлился – имеется в виду длительность мира, как она определялась договором. На самом деле мир сохранялся в течение 10 лет, до 431 г. до н. э., когда ряд конфликтов, признанных нарушениями договора, привели ко Второй Пелопоннесской войне, или Войне между лакедемонянами и афинянами, описанной Фукидидом. События, приведшие к началу этой войны, были достаточно сложными. Так, Фукидид указывает на спор между Керкирой и Коринфом и на Мегарский указ, то есть на небольшие конфликты, в которых в качестве союзников участвовали и основные протагонисты, каковое участие в итоге затянуло Спарту и Афины в открытое столкновение.

Спарта, господствующая держава на материковой части Греции, не слишком интересовалась привлечением союзников. Афины же в основном были морской державой, поэтому их война стала началом западной традиции соперничества морских и сухопутных сил. Керкира представляла собой независимое государство, но обладала вторым по значительности флотом после афинского. Третий флот принадлежал Коринфу, союзнику Спарты. Афины стремились заключить союз с Керкирой, что позволило бы блокировать и нейтрализовать Коринф, а потому и Спарту. Соперничество Керкиры и Коринфа достигло апогея в Эпидамне (на берегу современной Албании). В результате Керкира разгромила Коринф, однако коринфяне пере-

группировались и попытались расширить свой флот, подготовив его для второго крупного столкновения. Поскольку Коринф становился второй по величине морской державой греческого мира, Керкира обратилась за поддержкой к Афинам. На афинском собрании свои предложения представили послы и Коринфа, и Керкиры, и было принято решение: афиняне отрядили небольшой флот для символической поддержки Керкиры. Однако он оказался слишком мал, чтобы ей действительно помочь, и в то же время достаточно велик, чтобы разозлить коринфян, которые увидели в этом акт агрессии.

Проблема афинского лидера Перикла состояла в том, что бездействие могло привести к крушению Афинской морской империи и еще большему укреплению Спарты, морскую поддержку которой оказывал Коринф. Однако спартанцы столкнулись с похожей проблемой. Если бы они поддержали Коринф в войне с Керкирой, они бы показали, что хотят властвовать и на суше, и на море, а следовательно, добиваются подчинения Афин. Однако, если бы они не поддержали Коринф, они рисковали потерять свои единственные морские силы, что могло бы стать уступкой новой державе.

В свете этих требований и был составлен Мегарский указ 432 г. до н. э. (или так называемая Мегарская псефизма), которым был введен полный экономический бойкот острова Мегара, поскольку мегарцы «осквернили» афинские храмы и укрывали рабов, бежавших из Афин. Перикл был опять же загнан в угол. Отказ от бойкота привел бы к ослаблению его позиций в Афинах и показал бы Спарте, что спартанцы могут наносить ущерб афинским владениям в других местах. Если бы Спарта не стала следовать этому курсу, решили бы, что спартанский царь Архидам II ставит личную дружбу с Периклом выше интересов полиса. Народы призывали обоих лидеров действовать, проводя политику, которую каждый из лидеров считал опасной и ведущей к дестабилизации. С точки зрения Фукидида, и таких современных историков, как Аллен, ловушка возникает даже тогда, когда лидеры осознают опасности, но обстоятельства заставляют их действовать определенным образом, который в других условиях был бы иррациональным и опасным. По рассказу Фукидида, после одного бурного спора партия войны в Спарте одержала победу и голосованием было принято решение начать войну, поскольку спартанцы боялись, что Афины станут самой сильной державой в греческом мире.

Силы Спарты вторглись в Аттику и начали опустошать афинские территории и владения. Афинская стратегия, разработанная главным стратегом Периклом, состояла в том, чтобы укрыться за городскими стенами и, полагаясь на богатство города и флот, поджидать спартанцев, совершая при этом морские набеги, но не вступать в прямые столкновения. Стратегия и лидерство Перикла – одна из главных тем в повествовании Фукидида. «Надгробная речь» Перикла и следующие за ней речи – прославление афинского богатства, силы и политической мудрости, но в то же время косвенная апология консервативного курса самого Перикла. Однако в 430 г. до н. э. Афины поразила вспышка чумы, от которой погибла примерно треть афинского населения (Фукидид тоже ее подхватил, но выжил, что придает дополнительное значение тому, как у него обсуждается это событие). Чума поставила под вопрос мудрость стратегии Перикла. Она ярко высветила важные качества афинской политической культуры, которые мы будем исследовать далее. После чумы Перикла сняли с должности, а его противники попытались заключить мир со Спартой, но не добились успеха. В результате этой неудачи Перикла снова избрали, но в 429 г. до н. э. он умер от последствий чумы.

Заключительный промежуток первой войны (429–421 гг. до н. э.) и Никиев мир характеризовались борьбой различных афинских фракций, стремившихся занять лидерские позиции в отсутствие Перикла, а также поисками нового военного курса. В 428 г. до н. э. город Митилена на Лесбосе взбунтовался против афинян, что вызвало у последних опасение в общем развале Афинской империи. Митиленский бунт завершился неудачей, однако он стал началом для знаменитого спора о наказании митиленцев (подробнее мы обсудим его далее). В споре участвовал и Клеон, ставший лидером партии войны. Клеон – герой, которого Фукидид, оче-

видно, не уважал, однако изобразил его в качестве представителя более агрессивной стратегии, которая привела к победе в Пилосе. Эта стратегия была продолжена Клеоном, а на спартанской стороне ее аналог развивался военачальником Брасидом. Они сошлись друг с другом в битве под Амфиполем в 422 г. до н. э. Брасид руководил захватом Амфиполя, отбитого у афинян, тогда как Фукидид был военачальником, отвечавшим за расположенный неподалеку афинский флот. Поражение в этой битве привело к обвинению Фукидида в предательстве и изгнанию из Афин, когда он и стал писать свою историю. Клеон руководил экспедицией, нацеленной на то, чтобы снова отобрать Амфиполь у Брасида; и он, и Брасид погибли в этой битве, причем победа досталась спартамцам. В результате смерти двух протагонистов обеих сторон, поддерживавших агрессивную политику, партия мира в Афинах (которой руководил Никий) стала требовать мирного договора, что ознаменовало конец первой части войны, которую часто называют Архидамовой войной.

Хотя Никиев мир продлился четыре года, он никогда не был устойчивым, поскольку его условия не удовлетворяли ни одну из сторон, а многие союзники Спарты отказались его ратифицировать. Конфликт продолжился завоеванием Афинами острова Мелос, послужившим основой для Мелосского диалога. Однако наиболее важным актом, оборвавшим мир, оказалась масштабная кампания Афин против Сиракуз в Сицилии. Сицилийская кампания и вызванные ею споры стали фоном для введения Фукидидом нового героя – Алкивиада, племянника Перикла, сыгравшего противоречивую роль в последовавшей войне и отличившегося в разные времена в Афинах, Спарте и даже Персии.

Сицилийская кампания завершилась катастрофическим провалом, который ознаменовал начало конца Афинской империи. Афины потеряли свой флот, у них больше не было ресурсов для строительства нового. Также они утратили значительную часть своего престижа. Тогда как спартамцы заключили союз с Персией, чтобы создать свой собственный флот и воспользоваться слабостью Афин. Заключительная часть истории войны состоит из борьбы различных афинских фракций и упадка Афин, включая олигархический переворот 30 тиранов в 411 г. до н. э. Несмотря на определенные успехи в борьбе, афиняне так и не смогли вернуть себе инициативу. После уничтожения спартамцами их флота при Эгоспотамах, блокады и осады Афин, проведенной под командованием спартанского полководца Лисандра, война завершилась поражением Афин и их империи.

Здесь стоит также отметить, что падение Афинской империи совпало с ростом и развитием ее зрелой философской культуры. Платоновский Сократ участвовал в борьбе против 30 тиранов, как и исторический персонаж Фрасимах (который играет важную роль в «Государстве» Платона). Таким образом, Платон и его политическое мышление также сформировались под влиянием наследия «Войны между лакедемонянами и афинянами» Фукидида.

Этим кратким обзором мы задаем контекст, определяющий более общее значение книги Фукидида. Дискуссии о Фукидиде в основном направлены на объяснение войны и в значительной степени опираются на его основные понятия – страх, честь и интерес. Так, в них может обсуждаться то, принял ли Перикл и другие герои повествования правильные решения. Далее я сосредоточусь на другой линии аргументации и на том, что считаю двумя наиболее важными уроками, преподанными нам Фукидидом: на его размышлениях о демократическом государстве, участвующем в войне, и на очевидном вкладе в развитие реализма в политике и международных отношениях.

## **Либерализм Перикла**

Перикл играет основную роль в тексте Фукидида, и во многих отношениях он важнее любого другого героя его пантеона – и объясняется это как тем, что именно он представляет, так и его действиями, как они переданы в этом повествовании. Часто Фукидид называет его

первым гражданином Афин. Он был основной политической фигурой и лидером демократической фракции с 460 г. и до своей смерти от чумы в 429 г. до н. э. В это время Афины стали настоящей морской империей, которая начала угрожать военному господству Спарты.

Перикл – автор трех важных речей: ответа на спартанский ультиматум (книга I. 140–145), Надгробной речи (книга II. 35–46) и третьей речи (книга II. 60–64), где он после чумы защищает свою стратегию перед афинянами (обсуждение этой речи я отложу до последнего раздела данной главы). Во всех этих речах он представляется нам лидером и стратегом, от которого зависит сохранение подлинной природы афинского демоса, каковая подробно описана в Надгробной речи. Фукидид не раз описывает Перикла как персонажа, действия которого могут быть названы успешными или неуспешными в зависимости от тех задач, которые он решал. Также Перикл представляется в качестве идеального вождя, который дополняет институциональную структуру афинской демократии, а потому спасает ее от ее собственной склонности к популистскому соперничеству и беспорядку. Многие уроки афинских военных операций, как они изложены в истории Фукидида, соотносятся с центральной ролью лидера и с тем, как она должна проявляться в четкой стратегии, подкрепляемой особой концепцией или идеологией, способной поддержать народ в военное время и оправдать лишения, которые приносит война. Такая идеология, после поражения Афин отделенная от связи с демократией, становится важным источником конституционных либеральных идей. В последующие эпохи вплоть до XIX в. демократия и либерализм конкурировали друг с другом.

В первой речи (книга I. 140–145) он говорит о согласии афинян на войну со Спартой, которая была объявлена после того, как Перикл отказался отозвать Мегарскую псефизму, то есть прекратить экономическую блокаду Мегары, союзника Спарты. Защищая свое решение, он описывает стратегию Афин, указывая на ее долгосрочные общие цели – или, если использовать термины Клаузевица, на «использование боев с целью войны» [Клаузевиц, 1998, с. 113]. Перикл определяет, чего хотят достичь афиняне, и, будучи главным военачальником, предлагает достичь этих целей с помощью войны. В своем полном виде стратегия опирается на представление об афинской демократии, изложенное в Надгробной речи, так что основное внимание я уделю именно ей, однако первая речь важна тем, что в ней высказаны важные вещи о стратегических амбициях афинян.

Принимая вызов Спарты и решившись на войну, Перикл подчеркивает морскую природу Афинской империи, ее обращенный вовне, торговый характер. Спарта признается им в качестве господствующей сухопутной державы Греции, а потому Перикл отстаивает стратегию избегания детально спланированных сухопутных сражений, требуя полагаться на морскую силу Афин, позволяющую изводить Пелопоннесский союз нападениями и при этом обеспечивать надежное снабжение Афин. Поступая таким образом, Афины могут наносить ущерб силам Спарты, закрывая им в то же время доступ в ту область, где они сами господствуют. И хотя Афины понесут определенные издержки, Перикл говорит, что Афины могут легко их покрыть своим торговым богатством и могуществом. Спарта, будучи аграрной державой, не имеет достаточного избыточного продукта, чтобы потратить его на войну, и каждый день кампании в Аттике будет обходиться ей достаточно дорого. Афиняне не стремятся к захвату территории Пелопоннеса, у них вполне достаточно территории на островах, входящих в их морскую империю. Поэтому их цель состоит в том, чтобы создать гарантии для этой империи и для ее растущего влияния в Греции, позволив при этом Спарте и Пелопоннесскому союзу измотать самих себя, что заставит их искать новые условия мира.

Несмотря на последующие события, рассказанные Фукидидом, в том числе сыгравшую важную роль чуму, связанную со скоплением населения внутри афинских стен и обезлюдением сельских районов Аттики, стратегия Перикла представляется вполне логичной. Она определяет ясную цель войны и логичные оценки успеха. Также ею подчеркиваются специфические силы и преимущества Афин как морской державы, способной оказывать значительное влияние

в греческом мире, а именно на островные колонии, а потому не ограниченной узкими пределами сухопутной державы. Независимо от того, обоснованы ли такие аргументы, они в какой-то мере были воспроизведены Уинстоном Черчиллем, но уже в применении к Великобритании, в 1940 г., то есть после поражения Франции, – Черчилль осознанно стремился повлиять на политическое воображение американской элиты, получившей классическое образование. Перикл утверждал, что ущерб континентальным территориям Афин не будет иметь долгосрочного влияния на их способность выдержать конфликт и достичь своих целей. В худшем случае Афины могут потерять земли и собственность, тогда как важнее всего жизнь и свобода. В то же время Перикл сделал очень важное – и в контексте последующих событий весьма резкое – замечание: «Я опасюсь гораздо больше наших собственных ошибок, чем вражеских замыслов» (книга I. 144) [Фукидид, 1981, с. 64]. Чтобы стратегия работала, ее следовало сразу же привести в исполнение и не отклоняться от нее. Хотя более поздние военные теоретики, такие как Клаузевиц, говорят о необходимости приспособлять план к ходу военных операций, когда начинает ощущаться трение от столкновений с врагом, на самом высоком уровне стратегического планирования не менее важен долгосрочный взгляд, позволяющий не вносить изменения в ответ на понесенный ущерб. Действительно, более всего Фукидида беспокоит склонность демократии вносить подобные изменения.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.